

БЕСТСЕЛЕР THE NEW YORK TIMES

ВЬЕТ ТХАНЬ НГУЕН



СОЧУВСТВУЮЩИЙ

★

РОМАН



Лауреат Пулитцеровской
премии 2015

„МНОГОСЛОЙНАЯ ИММИГРАНТСКАЯ ИСТОРИЯ,
ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ ЧЕЛОВЕКА «С ДВУМЯ
ЛИЦАМИ», ЗАТЕРЯВШЕГОСЯ МЕЖДУ
ДВУМЯ СТРАНАМИ — ВЬЕТНАМОМ И США.“

КОМИТЕТ ПУЛИЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ

**Вьет Тхань Нгуен
Сочувствующий**

Посвящается Лан и Эллисону

Остережемся при слове “пытка” корчить тотчас же угрюмую рожу: как раз в этом случае есть что не скидывать со счетов, есть что заложить впрок – есть даже над чем посмеяться.

Ницше “К генеалогии морали”^[1]

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© Viet Thanh Nguyen, 2015

© В. Бабков, перевод на русский язык, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО “Издательство Аст”, 2019

Издательство CORPUS ®

Глава 1

Я шпион, невидимка, тайный агент, человек с двумя лицами. Еще (что, наверное, неудивительно) я человек с двумя разными сознаниями. Я не какой-нибудь непонятый мутант из комиксов или фильма ужасов, хотя некоторые примерно так ко мне и относятся. Я просто умею видеть любой спорный вопрос с обеих сторон. Иногда я льщу себе, мысленно называя это талантом – пусть и не из самых завидных, но других талантов у меня нет. Однако потом я вспоминаю, что не способен смотреть на мир иначе, и меня одолевают сомнения: а стоит ли считать это талантом? В конце концов, талант – это то, чем пользуетесь вы, а не то, что пользуется вами. Талант, которым вы не можете *не* пользоваться, который поработил вас, – это скорее опасный недостаток. Но в том месяце, с которого стартует это признание, мой взгляд на мир еще казался скорее добродетелью, нежели пороком, как оно и бывает поначалу со всеми добродетелями.

Итак, на дворе был апрель, жесточайший месяц. Это был месяц, когда нашей войне, продолжавшейся уже очень долго, предстояло лишиться своих щупалец, что рано или поздно случается с каждой войной. Месяц, который имел огромное значение для обитателей нашей маленькой страны и не имел никакого значения для большинства обитателей всех остальных стран. Месяц, который был концом войны и началом, э-э... мир ведь не очень подходящее слово, не правда ли, уважаемый комендант? Месяц, когда я ожидал конца за стенами виллы, где прожил семь предыдущих лет, – теперь эти стены блестели осколками битого коричневого стекла, а поверх них тянулась ржавая колючая проволока. На этой вилле у меня была собственная комната – да-да, комендант, прямо как здесь, в вашем лагере. Только здесь эта комната называется одиночной камерой, а вместо служанки, приходящей убирать каждый день, вы приставили ко мне круглолицего охранника, который вовсе ничего не убирает.

Но я не жалуясь: ведь тому, кто пишет признание, нужна не чистота, а покой.

На генеральской вилле мне хватало покоя ночью, но отнюдь не в дневное время. Я был единственным из офицеров, кто жил в доме генерала, единственным холостяком из его штаба и самым надежным его помощником. По утрам я отвозил генерала на работу, но прежде мы завтракали вместе, разбирая донесения на одном краю тикового обеденного стола, тогда как его жена на другом приглядывала за хорошо вышколенным квартетом детей в возрасте двенадцати, четырнадцати, шестнадцати и восемнадцати лет – еще одна дочь училась в Америке, и ее стул пустовал. Возможно, еще не каждый опасался конца, но генерал благоразумно его предвидел. Худощавый, с великолепной выправкой, он был воякой-ветераном с целой коллекцией медалей, в его случае заслуженных. Хотя на руках у него осталось всего девять пальцев, а на ногах восемь – три были отняты пулями и шрапнелью, – никто, кроме его родных и особо доверенных лиц, не знал о состоянии его левой ноги. Практически все его честолюбивые стремления удовлетворялись, если не считать желания раздобыть бутылку отличного бургундского и выпить ее с друзьями, понимающими, что в вино не обязательно класть кубики льда. Он был эпикуреец и христианин, именно в таком порядке, – человек, верующий в гастрономию и Бога, в свою жену и детей, а еще во французов и американцев. С его точки зрения, они научили нас гораздо более полезным вещам, чем другие иностранные шаманы, загипнотизировавшие наших северных братьев и часть южных: Карл Маркс, В. И. Ленин и Председатель Мао. Не то чтобы он читал кого-нибудь из этих мудрецов: обеспечивать его выписками из “Манифеста Коммунистической партии” или “Красной книжечки” входило в мои обязанности адъютанта и молодого офицера-интеллектуала, а он сам лишь пользовался плодами моих изысканий, чтобы продемонстрировать знание вражеской психологии. Он никогда не упускал случая процитировать свой любимый ленинский вопрос: господа, говорил он, постукивая по очередному столу

маленьким стальным кулаком, *что делать?* Сообщать генералу, что на самом деле этот вопрос поставил Чернышевский, озаглавив им свой знаменитый роман, казалось неуместным. Кто нынче помнит Чернышевского? Считаться следовало с Лениным – человеком действия, который отнял этот вопрос и превратил его в свою собственность.

В этом мрачнейшем из всех апрелей перед генералом вновь встал вопрос, что делать, и теперь, в отличие от всех предыдущих случаев, он не нашел на него ответа. Его, яркого апологета *mission civilisatrice*^[2] и Американского пути, наконец укусила блоха сомнения. Зеленовато-бледный, похожий на малярийного больного, он бродил по своей вилле, мучаясь непривычной бессонницей. Наш северный фронт смяли еще в марте, и с тех пор он частенько возникал на пороге моего кабинета или комнаты на вилле, дабы поделиться со мной последними новостями, неизменно плохими. Вы можете в это поверить? – восклицал он, на что я отвечал одним из двух: нет, сэр! или: это невероятно! Мы не могли поверить, что славный живописный городок Буонметхуот в горах, кофейную столицу, где я родился, разграбили в начале марта. Не могли поверить, что наш президент Тхьеу – имя, которое так и хочется выплюнуть, – по какой-то непостижимой причине отдал нашим войскам, защищающим горные районы, приказ об отступлении. Не могли поверить, что пали Дананг с Нячангом и что наши солдаты, в панике пробиваясь на баржи и лодки, стреляли в спину мирным жителям. Уединившись в своем укромном кабинете, я прилежно фотографировал эти отчеты, чтобы порадовать ими Мана, моего куратора. Как свидетельства неизбежной эрозии режима они радовали и меня, но я волей-неволей сочувствовал этим несчастным людям. Возможно, с политической точки зрения переживать за них и не стоило, но среди них могла бы оказаться моя мать, будь она жива. Она была из бедных, растила бедного ребенка – меня, а бедных никто не спрашивает, хотят ли они войны. И этих бедняков никто никогда не спрашивал, что они предпочитают: умереть от зноя и

жажды в море у побережья или подвергнуться грабёжам и насилию со стороны тех, кто вызвался их защищать. Если бы кто-нибудь из этих тысяч ожил после смерти, он не поверил бы, что она настигла его таким образом, как мы не могли поверить, что американцы – наши друзья, благодетели, союзники – отклонили нашу просьбу о новой финансовой помощи. Да и на что пошли бы у нас эти деньги? На боеприпасы, бензин и запчасти для оружия, танков и самолетов, которыми те же американцы снабдили нас даром. Обеспечив нас шприцами, они – вот негодяи! – вдруг перестали давать нам наркотик (за подарки, пробормотал генерал, всегда приходится платить дорогой ценой).

Под конец наших обсуждений и трапез генерал прикуривал от моей зажигалки “Лаки страйк” и замирал, глядя в пространство, пока сигарета медленно тлела у него в пальцах. В середине апреля, когда ожог горячим пеплом вывел его из задумчивости и он, не сдержавшись, обронил нехорошее слово, генеральша цыкнула на хихикающих детей и сказала: если ты будешь медлить и дальше, мы не выберемся. Проси у Клода самолет сейчас. Генерал притворился, что не слышал. Его супруга имела мозги-калькулятор, осанку инструктора по строевой подготовке и девичье тело даже после пятикратных родов, а экстерьер, в который все это было упаковано, понуждал наших живописцев, прошедших французскую школу, пускать в ход самые нежные тона акварели и самый расплывчатый мазок. Иначе говоря, она представляла собой образец вьетнамки. Откликом генерала на такую удачу стали вечная благодарность и вечный испуг. Потирая кончик обожженного пальца, он посмотрел на меня и сказал: думаю, пора просить у Клода самолет. И лишь когда он снова перевел взгляд на пострадавший палец, я покосился на генеральшу, которая просто подняла бровь. Хорошая мысль, сэр, ответил я.

Клод был нашим ближайшим американским другом. Мы состояли в самых доверительных отношениях – как-то раз он даже признался мне, что на одну шестнадцатую он негр. Так вот оно что, сказал я,

тоже захмелевший от теннессийского бурбона, теперь ясно, почему у вас черные волосы и так здорово ложится загар, и почему вы танцуете ча-ча-ча не хуже любого из нас. Та же история была с Бетховеном, добавил он: шестнадцатая часть. Ага, сказал я, теперь ясно, почему *“Happy Birthday”* в вашем исполнении – это прямо концертный номер. Мы с ним были знакомы больше двух десятков лет; еще в пятьдесят четвертом он увидел меня на барже среди беженцев и распознал мои способности. Девятилетний да ранний, я уже прилично болтал по-английски, научившись этому у одного из первых американских миссионеров. В ту пору официальной работой Клода была помощь беженцам. Теперь он входил в штат американского посольства и формально занимался развитием туризма в нашей истерзанной войной стране. Для этого, как вы понимаете, ему приходилось до последней капли выжимать платок, вымоченный в поту делового и не знающего сомнений американского духа. В действительности же Клод был цээршником, подвизавшимся у нас еще со времен французской империи. Еще тогда, когда ЦРУ называлось УСС, Хо Ши Мин обратился к ним за помощью в борьбе с Францией. Он даже процитировал их отцов-основателей в Декларации независимости нашей страны. Враги Дядюшки Хо считали, что на языке у него одно, а на уме другое, но Клод полагал, что видит его насквозь. Я позвонил Клоду из своего кабинета в двух шагах от генеральского и сообщил ему по-английски, что генерал потерял всякую надежду. По-вьетнамски Клод говорил плохо, по-французски еще хуже, но его английский был безупречен. Я отмечаю это лишь потому, что далеко не обо всех его соотечественниках можно сказать то же самое.

Все кончено, заявил я Клоду, и после этих слов сам полностью осознал, что так оно и есть. Я думал, Клод станет возражать и обещать, что мы еще увидим в небе тучи американских бомбардировщиков или что американские ВДВ скоро примчатся спасать нас на боевых вертолетах, но Клод меня не разочаровал. Попробую что-нибудь устроить, сказал он на фоне смутного гула

голосов. Наверное, в посольстве царила сумятица: измотанные чиновники, перегретые телетайпы, срочные депеши, летающие туда-сюда между Сайгоном и Вашингтоном, и такой густой смрад поражения в воздухе, что с ним не в силах справиться даже кондиционеры. Если не считать редких вспышек, Клод хранил спокойствие; он жил здесь так давно, что почти не потел, несмотря на тропическую сырость. Он мог подкрасться к вам незаметно в темноте, но ему никогда не удалось бы стать невидимкой в нашей стране. Он тоже был интеллектуалом, но особого, американского типа – разрядник по спортивной гребле, супермен с рельефными бицепсами. Тогда как наши умники обыкновенно отличались хилостью, бледностью и близорукостью, Клод при росте под метр девяносто имел орлиное зрение и держал себя в форме, каждое утро сажая на закорки своего слугу, мальчишку-нунга, и выполняя с ним по двести отжиманий. В свободное время он читал – когда он приходил на нашу виллу, под мышкой у него всегда торчала книга, обернутая в грубую почтовую бумагу, как порнуха или школьный учебник. Через несколько дней он явился к нам с “Азиатским коммунизмом и тягой к разрушению по-восточному” Ричарда Хедда.

Книга предназначалась для меня, генерал же получил бутылку “Джек Дэниелс” – я тоже предпочел бы ее, будь у меня выбор. Тем не менее я внимательно изучил обложку, пестрящую дифирамбами; их авторы захлебывались от восторга, точно пятнадцатилетние пигалицы из фан-клуба, но на самом деле это счастливое чирикание исходило от парочки министров обороны, сенатора, приехавшего в нашу страну на две недели “за фактами”, и известного телеведущего, который перенял свою манеру речи у Моисея в исполнении Ричарда Хестона. Причина их ликования крылась в увесистом подзаголовке: “Как понять и победить марксистскую угрозу в Азии”. Клод сказал, что это практическое пособие сейчас читают все, и я пообещал тоже с ним ознакомиться. Генерал с треском вскрыл бутылку; он не был расположен к обсуждению книг и прочей пустой болтовне в столице, окруженной восемнадцатью вражескими дивизиями. Он желал

услышать о самолете, и Клод, катая в ладонях стаканчик с виски, сказал, что может предложить нам лишь черный, то есть незарегистрированный, рейс на C-130. В нем размещаются девяносто два парашютиста со снаряжением – это было прекрасно известно генералу, ибо, прежде чем возглавить по просьбе президента Национальную полицию, он служил в воздушно-десантных войсках. Беда в том, объяснил он Клоду, что у него одной родни пятьдесят восемь человек. Конечно, не все они хороши – честно говоря, некоторых он даже презирает, – но жена никогда не простит ему, если он не спасет их всех.

А как же мой штаб, Клод? – спросил генерал на своем чистом, церемонном английском. Что будет с ними? Оба устремили взгляды на меня. Я постарался изобразить на лице отвагу. Я не был в штабе старшим по званию, но как адъютант генерала и офицер, ближе всех остальных знакомый с американской культурой, присутствовал на каждой его встрече с американцами. Кое-кто из моих земляков говорил по-английски не хуже меня, хотя и с легким акцентом, но почти никто не мог, подобно мне, обсуждать текущую ситуацию в чемпионате по бейсболу, ужасное поведение Джейн Фонды или преимущества “Роллинг стоунз” перед “Битлз”. Если бы американец послушал меня с закрытыми глазами, он решил бы, что я один из них. В телефонных разговорах меня и впрямь часто принимали за американца. Затем, при личной встрече, мой собеседник неизменно изумлялся моему облику и почти всегда спрашивал, где это я научился так здорово говорить по-английски. В нашей рисово-банановой республике это воспринималось как особая привилегия: штатники ожидали увидеть во мне типичного представителя тех миллионов, которые либо вовсе не знали английского, либо нещадно его коверкали. Меня эти ожидания раздражали, а потому я никогда не упускал случая показать, как свободно я владею их языком и в письменной, и в устной форме. Мой лексикон был богаче, а грамматика – правильнее, чем у среднего образованного американца. Я понимал оттенки речи в любом регистре, и когда

Клод назвал своего посла, не желающего признавать неизбежность катастрофы, мудаком, который засунул голову себе в жопу, это не вызвало у меня никакого недоумения. Официально эвакуация еще не объявлена, сказал Клод, пока что мы отсюда не снимаемся.

Генерал редко повышал голос, но в этот раз не стерпел. А неофициально вы нас бросаете! – закричал он. Самолеты вылетают из аэропорта круглые сутки. Все, кто работает с американцами, пытаются добыть выездную визу. Они идут за ней в ваше посольство. Своих женщин вы уже эвакуировали. Детей и сирот тоже. Почему единственные, кто не знает, что американцы отсюда снимаются, – это сами американцы? У Клода хватило воспитания на то, чтобы прикинуться смущенным. Если объявить эвакуацию, в городе вспыхнут мятежи, пояснил он, и оставшимся американцам, возможно, не поздоровится. Так произошло в Дананге и Нячанге: американцы бежали оттуда со всех ног, а местные передрались между собой. Жертв были тысячи. Но, несмотря на эти прецеденты, здесь пока на удивление спокойно. Большинство сайгонцев ведут себя как благородные супруги, готовые утонуть, сжимая друг дружку в объятиях и ни словом не обмолвившись о своих постыдных изменах. Правда в данном случае состоит в том, что на американцев так или иначе работают или работали по крайней мере миллион человек: одни чистили им ботинки, другие управляли армией, созданной по их образцу, третьи делали им минет за деньги, на которые в Пеории или Покипси можно купить разве что гамбургер. Многие из этих людей верят, что если коммунисты победят (теперь они наконец признали такую возможность), то их ждет тюрьма или удавка, а девственниц – принудительный брак с варварами. Да и почему бы им не верить? Эти слухи упорно распускало ЦРУ.

Итак... – начал генерал, но Клод перебил его. У вас есть один самолет, и считайте, что вам повезло, сэр. Генерал не привык клянчить. Он допил виски, как и Клод, а затем пожал ему руку и распрощался с ним, ни на миг не отведя взгляда в сторону. Американцы любят смотреть людям в глаза, как-то сказал мне он,

особенно когда имеют их сзади. Клод видел ситуацию иначе. Другим генералам достались только места для ближайших родственников, сказал он нам уже с порога. Даже Ной и Господь Бог не могли спасти всех. Или не хотели, неважно.

Так ли уж не могли? Что сказал бы на это мой отец? Он был католическим священником, но я не помню, чтобы этот смиренный миссионер когда-нибудь читал проповедь о Ное, – впрочем, на мессе я всегда больше дремал, чем слушал. Но в одном сомневаться не приходилось: любой сотрудник генеральского штаба при малейшей возможности постарался бы спасти сотню своих настоящих родичей и всех фальшивых, у кого нашлись бы деньги на взятку. Единственный сын матери-изгоя, порой я жалел, что лишен обычной для вьетнамцев большой семьи с ее сложным и тонким устройством, но сегодня был не тот случай.

* * *

Через несколько часов после нашей встречи с Клодом президент сложил с себя полномочия. Я ждал, что он покинет страну еще несколько недель назад, как и положено диктатору, поэтому весть о его отставке мало меня тронула, тем более что я уже ломал голову над списком эвакуируемых. Генерал, человек педантичный и добросовестный, умел принимать быстрые и жесткие решения, но эту работу он поручил мне. У него было полно своих дел: читать утренние протоколы допросов, участвовать в штабных совещаниях, вести с доверенными лицами телефонные переговоры о том, как защищать город и при этом быть готовыми покинуть его в любой момент (задача не менее каверзная, чем играть в “музыкальные стулья” под свою любимую песенку). Музыка была у меня на уме, ибо в моей комнате на вилле стоял приемник “Сони”, и, размышляя над списком, я слушал ночные передачи американского радио. Благодаря песням “Иглз”, “Роллинг стоунз” и Дженис Джоплин плохое

почти всегда становилось терпимым, а хорошее чудесным, но сейчас не помогали даже они. Каждый раз, зачеркивая чье-нибудь имя, я словно подписывал смертный приговор. Все наши имена, от генерала до самого младшего офицера, мы обнаружили на скомканном листке во рту его владелицы, когда вломились к ней в дом. Предупреждение, которое я отправил Ману, не успели передать ей вовремя. Когда полицейские скрутили шпионку коммунистов и повалили ее на пол, мне не оставалось ничего другого, кроме как залезть к ней в рот и вытащить листок, который она пыталась проглотить. Этот пропитанный слюной комок наглядно доказывал, что наш Особый отдел, привыкший за всеми следить, сам находится под слежкой. Даже если бы мне удалось провести минутку наедине с арестованной, я не смог бы признаться, что я на ее стороне: риск был слишком велик. Я знал, какая судьба ее ждет. В Особом отделе допрашивали на совесть, и она волей-неволей меня выдала бы. Она была молода, гораздо моложе меня, но достаточно опытна, чтобы тоже не питать никаких иллюзий. В одно мгновение я успел прочесть в ее глазах правду – в них вспыхнула ненависть ко мне, приспешнику деспотического режима, – но потом она, как и я, вспомнила, что должна играть свою роль. Прошу вас, господа! – воскликнула она. Я невиновна! Клянусь!

Три года спустя эта коммунистическая шпионка все еще сидела в тюрьме. Я держал ее папку у себя на столе как напоминание о том, что мне не удалось ее спасти. Это была и моя вина, признался Ман. Когда придет день освобождения, я сам отопру ей дверь. Ее арестовали в двадцать два года; в папке была ее тогдашняя фотография и другая, снятая пару месяцев назад, с потускневшими глазами и поредевшими волосами. Наши тюремные камеры походили на машины времени: их обитатели старели намного быстрее, чем в обычной жизни. Я поглядывал на ее лицо тогда и теперь, и это помогало мне отбирать для спасения единицы и вычеркивать многих, включая тех, кому я симпатизировал. Я кроил и перекраивал свой список несколько дней – за это время были

уничтожены защитники Суанлока, а Пномпень пал под напором красных кхмеров. Еще через ночь-другую наш экс-президент удрал на Тайвань. Отвозя беглеца в аэропорт, Клод заметил, что в его несообразно тяжелых чемоданах что-то позвякивает – возможно, изрядная доля нашего государственного золотого запаса. Он поведал мне об этом на следующее утро, когда позвонил предупредить, что наш рейс отправляется через два дня. Ближе к вечеру я закончил свой список и сказал генералу, что постарался сделать его демократичным и репрезентативным, включив туда офицера, высшего по званию, офицера, которого все считают самым честным, того, чье общество я ценю больше всего, и так далее. Генерал согласился с таким подходом и его неизбежным следствием – что значительное количество старших офицеров, весьма осведомленных и близко причастных к работе Особого отдела, придется оставить. В итоге в мой перечень вошли полковник, майор, еще один капитан и два лейтенанта. Что касается меня, то я зарезервировал одно место для себя и три для Бона, его жены и сына, моего крестника.

Вечером генерал зашел ко мне с уже полупустой бутылкой виски, чтобы слегка меня подбодрить, и я попросил у него разрешения взять с нами Бона. Хоть и не связанный со мной биологическим родством, он еще со школьной поры был одним из двух моих побратимов. Другим был Ман; подростками мы поклялись, что останемся верными друзьями до могилы. Мы даже порезали себе ладони и скрепили свою клятву ритуальными рукопожатиями, смешав таким образом нашу кровь. Я носил в бумажнике черно-белую фотографию Бона с семьей. Бон имел вид обычного парня, которого избили до неузнаваемости, но изуродовал его не кто иной, как Господь Бог. Даже берет десантника и идеально выглаженный камуфляжный костюм не могли отвлечь внимание от его парусоподобных ушей, безнадежно застрявшего в складках шеи подбородка и плоского носа с сильным уклоном вправо, как его политические взгляды. Что же касается его жены Линь, поэт сравнил

бы ее лицо с полной луной, намекая этим не только на его величину и округлость, но и на рубцы от угрей, рассыпанные по нему, точно кратеры. Как они умудрились произвести на свет такого симпатичного мальчишку, как Дык, было загадкой – а может, в этом была та самая железная логика, согласно которой минус на минус непременно дает плюс. Генерал вернул мне снимок со словами: ну, хотя бы это я могу для вас сделать. Он десантник. Если бы вся наша армия состояла из десантников, мы выиграли бы эту войну.

Если бы... но никакого “если бы” не было, была лишь неопровержимая реальность: генерал, присевший на краешек моего стула, и я у окна, жадно глотающий виски. Во дворе ординарец генерала охапками скармливал военные тайны огню, полыхающему в двухсотлитровой бочке, еще больше раскаляя и без того жаркую ночь. Генерал встал и принялся расхаживать по комнатке со стаканом в руке – в одних трусах и майке, с синевой полуночной щетины на подбородке, он напоминал растерянного неудачника из пьесы Теннесси Уильямса. Таким, да и то изредка, его видели только домработницы, ближайшие родственники да я. Перед приемом посетителей, в какой бы час они ни явились, он непременно помадил себе волосы и облачался в свежесглаженный мундир цвета хаки, разукрашенный лентами, как прическа королевы бала. Но этим вечером, когда тишину на вилле эпизодически нарушала лишь далекая пушечная пальба, он позволил себе побрюзжать на американского Молоха, обещавшего спасти нас от коммунизма при условии, что мы будем неукоснительно его слушаться. Они затеяли эту войну, а теперь устали от нее и предали нас, сказал он, подливая мне виски. Но кого нам винить, кроме себя? Мы, как дураки, поверили им на слово. А теперь деваться некуда – катись в Америку. В мире есть места и похуже, ответил я. Возможно, сказал он. По крайней мере, мы живы, а значит, борьба еще не кончена. Но в данный момент нас грубо и цинично поимели. Какой тост тут годится?

Я поразмыслил.

За кровь в глазу, сказал я.

Вот-вот.

Я забыл, у кого я перенял этот тост и даже что он значит, – помнил только, что привез его из Америки. Генерал тоже побывал там: в пятьдесят восьмом, еще младшим офицером, он в составе небольшого спецподразделения проходил боевую подготовку в Форт-Беннинге, где ему в течение нескольких месяцев делали прививки от коммунизма. В моем случае вакцина не привилась. Уже тогда я вел двойную жизнь – лауреат особой стипендии и начинающий шпион, я был единственным представителем нашей страны в маленьком, окруженном живописными рощами колледже под названием Оксидентал и с девизом *Occidens Proximus Orienti*. Я провел в дремотном, солнечном калифорнийском раю шесть идиллических лет. Чего только не изучали в нашем заведении – автомагистрали, гражданские правонарушения, канализационные системы и уйму других полезных вещей, – но все это было не для меня. Ман, мой коллега-конспиратор, дал мне задание изучить американский образ мыслей. Я должен был вести психологическую войну. Ради этого я штудировал американскую историю и литературу, оттачивал свою грамматику и запоминал сленг, курил травку и потерял невинность. В итоге я одолел не только бакалавриат, но и магистратуру, став экспертом по всему американскому. Я и теперь отлично помню, где мне впервые попались на глаза удивительные слова величайшего из американских философов, Эмерсона, – на лужайке у переливчатой купы палисандровых деревьев. Мой взгляд блуждал между моими экзотическими смуглыми однокашницами, загорающими на июньской травке в шортах и топиках, и четкими черными словами на ослепительно-белой странице: *последовательность – это пугало ограниченных умов*. Эмерсон не написал об Америке ничего более справедливого, но не только поэтому я подчеркнул его афоризм один раз, второй, а потом и третий. Нет, другое поразило меня тогда и не выходит из головы до сих пор: то же самое можно сказать о

моей родине, где обитают самые непоследовательные люди на свете.

* * *

Когда наступило последнее утро, я отвез генерала в его кабинет на территории, принадлежащей Национальной полиции. Мой кабинет находился неподалеку от генеральского, и я по очереди вызвал туда пятерых избранных для разговора с глазу на глаз. Улетаем сегодня? – спросил полковник, вояка с большими влажными глазами маленькой девочки. Да. Мои родители? Родители жены? – спросил майор, упитанный завсегда китайских ресторанов в Тёлоне. Нет. Братья, сестры, племянники и племянницы? Нет. Няньки и домработницы? Нет. Чемоданы, одежда, фарфоровые сервизы? Нет. Капитан, припадающий на одну ногу из-за венерической болезни, пригрозил покончить с собой, если я не найду дополнительных мест. Я предложил ему свой револьвер, и он угрюмо отчалил. Юные лейтенанты, наоборот, встретили известие восторженно. Свои драгоценные должности они получили благодаря родительским связям, и их движения были нервными и дергаными, как у марионеток.

Я запер дверь перед носом последнего просителя. Окна дребезжали от далеких взрывов, и на востоке были видны клубы дыма и пламени. Вражеская артиллерия подожгла склад боеприпасов в Лонгбине. Я чувствовал грусть, смешанную с радостью, – словом, было что отметить, и я полез в ящик стола, где лежала недопитая бутылка “Джим Бим”. Спрашивать, не слишком ли много я пью, было все равно что спрашивать, умеют ли монахи креститься. Будь жива моя бедная матушка, она сказала бы: не пей столько, сынок. До добра это не доведет. Так ли, мама? Быть кротом в генеральском штабе непросто – в подобной ситуации любой искал бы утешения везде, где только можно. Я прикончил остатки виски,

потом отвез генерала домой. Пока мы ехали, хлынул ливень, предвестие дождливого сезона; кто-то надеялся, что ненастная погода замедлит наступление северян, но мне это казалось маловероятным. Обойдясь без ужина, я собрал рюкзак: туалетные принадлежности, запасные штаны и клетчатая рубашка из лос-анджелесского супермаркета, туфли, три смены белья, электрическая зубная щетка с местного рынка, фотография матери в рамочке, конверты с другими фотографиями, здешними и американскими, мой “Кодак” и “Азиатский коммунизм и тяга к разрушению повосточному”.

Сам рюкзак мне подарил Клод в честь окончания колледжа. Это была лучшая из моих вещей: хочешь – носи за плечами, а хочешь – подтяни ремешки по бокам, и в руках у тебя окажется удобный портфель. Сработанный из мягкой коричневой кожи знаменитым британским производителем, он густо и загадочно пах осенними листьями, жаренным на гриле омаром, а также потом и спермой интернатов для мальчиков из богатых семей. Сбоку красовалась монограмма из моих инициалов, но самым главным достоинством рюкзака было двойное дно. В багаже каждого мужчины должен быть тайник, сказал Клод. Неизвестно, когда и зачем он тебе понадобится! Клод не знал, что теперь я прячу там миниатюрный фотоаппарат “Минокс” – подарок Мана. Его цена в несколько раз превышала мое годовое жалованье. Именно с его помощью я переснял немало секретных документов, к которым имел доступ, и полагал, что он мне еще пригодится. Напоследок я прошелся по оставшимся книгам и музыкальным записям – почти все я когда-то привез из Штатов, и почти все были чем-то мне памятни. Я не мог взять с собой Элвиса и Дилана, Фолкнера и Эллисона, и хотя все это поддавалось восстановлению, писать на ящике с книгами и дисками адрес Мана было тяжело. Пришлось бросить и гитару, которая осталась лежать на кровати, укоризненно поблескивая широкими бедрами.

Завершив сборы, я сел в казенный “ситроен” и поехал за Боном. Увидев на машине генеральские звезды, военные полицейские на контрольных постах пропускали меня без заминки. Путь мой лежал за реку, на жалкую Ривьеру, где сгрудились лачуги беженцев, кособокие сооружения из американских картонных коробок. Эти убогие жилища служили приютом несчастным травмированным селянам, давно лишившимся своего хозяйства. Их фермы были отравлены марочными дефолиантами, творениями рук заокеанских ученых, аккуратно подстригающих свои лужайки, стерты с лица земли гладко выбритыми психопатами, нашедшими в артиллерии свое истинное призвание, или сожжены дотла солдатами-пироманьяками, выходцами из городских трущоб, которым в свою очередь суждено было погибнуть в огне расовых мятежей. Скоро я достиг недр Четвертого района – Бон с Маном ждали меня там в пивной под открытым небом, где наша троица провела столько хмельных часов, что и не счесть. За столиками, спрятав винтовки под табуреты, тесно сидели пехотинцы как морской, так и сухопутной разновидности, нещадно оболваненные армейскими парикмахерами, этими френологами-извращенцами, которые никогда не упускают случая выставить на всеобщее обозрение форму черепа своей очередной жертвы. За встречу, сказал Бон, наливая мне пива так щедро, что пена потекла через край. Следующая будет на Филиппинах! На Гуаме, поправил я: диктатор Маркос сыт беженцами по горло и больше не желает их принимать. Бон со стоном потер лоб кружкой. Я-то думал, что паршивей уже не бывает. А теперь еще и филиппинцы на нас сверху вниз смотрят? Плюнь ты на филиппинцев, сказал Ман, поднимая свою кружку. Давай выпьем за Гуам – остров, на котором начинается американский день. А наш кончается, пробормотал Бон.

В отличие от нас с Маном, Бон был истинным патриотом, республиканцем, который пошел на войну добровольно: он ненавидел коммунистов с тех самых пор, как один из них уговорил его отца, деревенского вора, прилюдно стать на колени и покаяться,

а потом демонстративно вогнал ему пулю в ухо. Если бы не мы с Маном, Бон наверняка по-самурайски бился бы до конца, приберегая для себя последний патрон, но мы убедили его подумать о жене и сыне. Уехать в Америку – не дезертирство, заявили мы. Это отступление, стратегический ход. Мы сказали Бону, что завтра Ман тоже улетит вместе с семьей, тогда как в действительности Ман рассчитывал своими глазами увидеть освобождение Юга теми самыми коммунистами-северянами, которых Бон на дух не выносил. Сейчас Ман сжал его плечо своими длинными изящными пальцами и сказал: мы кровные братья, все трое. Мы останемся братьями, даже если проиграем эту войну и потеряем нашу страну. Он взглянул на меня повлажневшими глазами. Для нас конца не будет.

Ты прав, сказал Бон, истово кивая, чтобы скрыть слезы. Хватит грустить и сокрушаться. Выпьем за надежду! Мы вернемся, чтобы продолжить бой. Не так ли? И в свой черед посмотрел на меня. Я тоже прослезился, и мне было не стыдно. Даже имей я настоящих братьев, эти были бы лучше, потому что мы сами друг друга выбрали. Я поднял кружку. За возвращение, сказал я. И за братство, которому нет конца. Мы осушили кружки, велели официанту принести еще и, обнявшись за плечи, добрый час изливали свои братские чувства посредством пения, благо владельцы пивной расщедрились на дуэт музыкантов. Одним из них был длинноволосый гитарист, уклоняющийся от армии, – его болезненная бледность объяснялась тем, что последние десять лет он провел в стенах хозяйского дома, выходя наружу только по ночам. Ему составляла компанию сладкоголосая певица с такими же длинными волосами; стройность ее фигурки подчеркивал шелковый аозай цвета румянца на щеках девственницы. Она пела песни Чинь Конг Шона, народного сочинителя, которого любили даже десантники. *Милая, я завтра уезжаю...* – лилось поверх шума дождя и гула голосов. *Позвони мне домой, не забудь...* Мое сердце затрепетало. Наш народ не из тех, что поднимаются на войну по

зову трубы и под рокот барабанов. Нет, мы воюем под трели любовных песен, ибо мы – азиатские итальянцы.

Милая, я завтра уезжаю. Прощайте, городские вечера... Знай Бон, что сегодня он расстается с Маном на целые годы, а может, и навсегда, он наотрез отказался бы лезть в самолет. Еще с лицейской поры мы воображали себя тремя мушкетерами – один за всех и все за одного. С Дюма нас познакомил Ман – во-первых, потому что Дюма был великий писатель, а во-вторых, потому что он был квартирономом, а значит, образцом для нас, колонизированных теми самыми французами, которые презирали его за расовую неполноценность. Запойный читатель и рассказчик, в мирное время Ман наверняка стал бы учителем литературы в нашем лицее. Он не только перевел на родной язык три детектива Эрла Стенли Гарднера про Перри Мейсона, но и написал под псевдонимом невзрачный романчик в духе Золя. Он изучал Америку, хотя сам ни разу там не бывал, так же как и Бон, снова махнувший официанту. Есть в Америке такие пивные? – спросил он, повторив заказ. Там есть бары и супермаркеты, где всегда можно взять пива, сказал я. А есть ли там красавицы, которые поют такие песни? Я наполнил его кружку и сказал: там есть красавицы, но они не поют таких песен.

Потом гитарист начал брать знакомые аккорды. Они поют такие песни, сказал Ман. *Yesterday, all my troubles seemed so far away...* И мы, все трое, подхватили: *Now it looks as though they're here to stay, oh I believe in yesterday... Suddenly...* На мои глаза снова навернулись слезы. Каково это – жить без войны, когда тобой не командуют воры и трусы, а твоя родина не похожа на доходягу под скудеющей капельницей американской помощи? Я не знал никого из молодых солдат вокруг, за исключением своих кровных братьев, но мне было жаль их всех, с горечью сознающих, что через считанные дни их убьют, или ранят, или арестуют, или унижат, или бросят, или забудут. Они были моими врагами, но в то же время и братьями по оружию. Их любимому городу предстояло пасть, моему – освободиться. Их миру наступал конец, мой ожидала не более чем радикальная

трансформация. Но несколько минут мы пели от всего сердца, думая лишь о прошлом и отвратив свой взгляд от будущего, – обреченные, плывущие на спине к водопаду.

* * *

Когда мы уходили, дождь наконец перестал. Решив напоследок выкурить еще по сигаретке, мы задержались в устье промокнувшей насквозь аллеи у ограды бара, и тут из сырой вагинальной тьмы вывалились трое гидроцефалов в заляпанных пивом куртках морпехов. *Сайгон, Сайгон!* – распевали они. *Ты прекрасен, Сайгон!* Хотя было только шесть часов, они уже успели надраться. У каждого на плече висела винтовка, и каждый мог похвастаться дополнительной парой яиц. При ближайшем рассмотрении это оказались гранаты, пристегнутые к поясам по обе стороны от пряжки. Их оружие и форма были американского производства, как и у нас самих, однако мы сразу опознали в них своих единоплеменников: их выдавали мятые каски, слишком просторные для вьетнамских черепов. Болтая головой, как болванчик, первый морпех наткнулся на меня, и каска съехала ему почти на нос. Он с руганью сдвинул ее вверх, и я увидел мутные глаза, старающиеся поймать меня в фокус. Привет! – сказал он, обдав меня пивной вонью. У него был такой сильный южный акцент, что я едва его понимал. Ты кто? Полицейский? Чего ты лезешь к настоящим солдатам?

Ман стряхнул на него пепел. Этот полицейский – капитан. Отдайте честь старшему, лейтенант.

Как вам будет угодно, майор, сказал второй морпех, тоже лейтенант, но тут вмешался третий, в том же звании. Майоры, полковники, генералы – да пошли они все! Президент удрал. Генералы – пуф! Растаяли как дым. Спасают свою жопу, ясное дело. А мы должны прикрывать отступление. Так оно всегда и бывает!

Какое еще отступление? – спросил второй. Отступить-то некуда! Считай, мы уже трупы, сказал третий. Почти, согласился первый. Как говорится, каждому свое.

Я выбросил сигарету. Вы пока еще не трупы, а потому отправляйтесь-ка по месту службы. Первый снова сфокусировался на моем лице и подступил ко мне вплотную, так что едва не уткнулся своим носом в мой.

Да кто ты такой, а?

Вы забываетесь, лейтенант! – воскликнул Бон.

Я скажу тебе, кто ты. Морпех ткнул меня пальцем в грудь.

Лучше не надо, сказал я.

Ублюдок! – крикнул он. Два остальных засмеялись и подхватили: ублюдок!

Я вынул револьвер и приставил дуло ко лбу морпеха. Его товарищи позади нервно теребили винтовки, но на большее не отваживались. Несмотря на хмель, они понимали, что не успеют выстрелить раньше, чем мои относительно трезвые друзья.

Вы пьяны, лейтенант! Мой голос невольно дрогнул. Не правда ли?

Так точно, сказал морпех. Сэр.

Тогда я не стану вас убивать.

И тут, к моему огромному облегчению, мы услышали первую из бомб. Наши головы мигом повернулись в направлении взрыва, за которым последовал еще один и еще, все на северо-западе. Это аэропорт, сказал Бон. Пятисотфунтовки. Как потом выяснилось, он не ошибся ни в том ни в другом. Скоро вдалеке за клубился черный дым, но больше ничего видно не было. Потом вдруг словно затарахтело все оружие в округе, от центра города до аэропорта, – винтовочный треск мешался с более низким буханьем пушек, в небе вспыхивали оранжевые хвосты трассирующих снарядов. Все обитатели нашей жалкой улицы тут же прилипли к окнам или высунулись из дверей, и я снова спрятал револьвер в кобуру. Появление стольких свидетелей явно отрезвило лейтенантов-морпехов. Не издав больше ни звука, они залезли в свой джип и

дали газу. Петляя между стоящими на обочинах мотоциклами, они добрались до перекрестка, остановили машину и выскочили из нее с винтовками в руках. Пальба продолжалась, народ запрудил тротуары. Когда морпехи оглянулись на нас в мертвенно-желтом свете фонаря, мое сердце застучало быстрее, но они только вскинули свои М-16 к небесам и с отчаянными воплями выпустили туда все патроны. Сердце у меня колотилось, а по спине струйками сбегал пот, но ради своих друзей я улыбнулся и закурил новую сигарету.

Идиоты! – крикнул Бон, и горожане в подъездах сторбились еще сильнее. В ответ морпехи в двух словах сообщили, что они думают о нас, потом опять прыгнули в джип, свернули за угол и исчезли. Я и Бон распрощались с Маном, и после того как он уехал на своем джипе, я кинул Бону ключи от “ситроена”. Бомбежка и стрельба прекратились, и всю дорогу до своего дома он виртуозно проклинал наши военно-морские силы. Я благоразумно помалкивал. От морпехов не стоит требовать знания светских манер. От них требуется одно – быстрая работа инстинктов, когда речь идет о жизни и смерти. Что же до определения, которое они мне дали, меня огорчило не столько оно само, сколько моя реакция на него. Мне пора было бы уже привыкнуть к этому ходовому оскорблению, но почему-то у меня это никак не получалось. Моя мать была местной уроженкой, отец – иностранцем, и многие, знакомые и незнакомые, с удовольствием напоминали мне об этом с самого детства – они плевали на меня и говорили, что я ублюдок, хотя иногда, чтобы не соскучиться, делали это в обратном порядке.

Глава 2

Вот и теперь круглолицый охранник, периодически заглядывающий ко мне в камеру, обзывает меня ублюдком, когда ему вздумается. Удивляться тут нечему, хотя от ваших подчиненных, уважаемый комендант, я ожидал лучшего. Признаю, что это по-прежнему неприятно слышать. Отчего бы ему, просто ради разнообразия, не назвать меня дворняжкой или полукровкой? Или, скажем, метисом – так именовали меня французы, когда не называли евразийцем. Последнее определение подернуто романтическим флером для американского уха, но отнюдь не для самих французов. Время от времени они еще попадались мне в Сайгоне – ностальгирующие колонизаторы, упорно не желающие покинуть нашу страну даже после банкротства своей империи. Они собирались в клубе “Серкль спортиф”, потягивали перно и жевали резиновую отбивную воспоминаний, перебирая давние события на сайгонских улицах, которые называли по-старому, по-французски: Ляграндьер, Сомм, Шарне. Прислугу из местных они третировали с высокомерием нуворишей, а когда появлялся я, косились на меня подозрительно, точно таможенники на паспортном контроле.

Впрочем, “евразийцев” изобрели не они. За это нужно сказать спасибо англичанам в Индии, которые тоже были не прочь побаловаться темными шоколадками. Как и те британцы в пробковых шлемах, экспедиционные войска США в Тихоокеанском бассейне оказались не в силах противиться местным соблазнам. Они даже придумали специальное слово для гибридов вроде меня – амеразийцы. Хотя в моем случае оно не годилось, я не мог упрекать американцев за то, что они видят во мне сородича, так как потомства американских солдат в тропиках, этой особой разновидности продукции казенного образца, запросто хватило бы на заселение небольшой страны. Мои земляки, предпочитающие терминам эвфемизмы, называют таких, как я, пылью жизни. С

юридической точки зрения, согласно законам всех известных мне стран, меня полагается именовать внебрачным сыном, или незаконнорожденным; мать называла меня плодом любви, но об этом мне вспоминать не хочется. В конечном счете, самый правильный вариант избрал мой отец: он не называл меня никак.

Вполне естественно, что я питал теплые чувства к генералу, ибо он, подобно моим друзьям Ману и Бону, никогда не тыкал мне в глаза моим сомнительным происхождением. Когда я поступил на службу к нему в штаб, генерал заметил: меня интересует лишь то, насколько хорошо вы будете выполнять мои приказы, хотя я не обещаю приказывать вам делать только хорошее. Я уже не раз подтверждал свою компетентность, и подготовка эвакуации стала очередной успешной проверкой моего умения прочертить тонкую грань между легальным и нелегальным. Я составил список, заказал автобусы, а самое главное – подкупил тех, от кого зависела безопасность наших перемещений. Взятки извлекались из сумки с десятью тысячами долларов – именно столько я запросил у генерала, после чего он переадресовал меня к генеральше. Это экстраординарная просьба, сказала мне она за чашкой улуна в своей гостиной. Мы с вами в экстраординарной ситуации, ответил я. Для девяноста двух беженцев сумма вполне разумная. Как и все, кто прикладывал ухо к рельсам, по которым в нашем городе носились сплетни, она не смогла ничего возразить. Если верить молве, цена визы, паспорта и места в самолете достигала многих тысяч долларов, в зависимости от выбранного комплекта и того, насколько скользким было положение покупателя. Но прежде чем давать взятку, требовалось как минимум найти нужных людей. Подумав, я обратился к корыстолюбивому майору, с которым свел знакомство в клубе “Розовая ночь” на Нгуен-Хюэ. Перекрикивая то психоделический грохот “СВС”, то поп-ритмы “Аптайт”, я выяснил, что он работает дежурным в аэропорту. За относительно скромное вознаграждение в тысячу долларов он сообщил мне, кто будет нести караул во время нашего отлета и где я могу найти их лейтенанта.

Итак, все было организовано, и мы с Боном, забрав его жену и сына, явились на виллу к условленному часу, то бишь к семи вечера. У ворот ждали два голубых автобуса с решетками на окнах. Предполагалось, что гранаты террористов будут отскакивать от них, если только не окажутся реактивными – в этом случае оставалось рассчитывать лишь на броню молитв. Взволнованные семьи собрались во дворе, а генеральша с домашней прислугой стояла на крыльце виллы. Ее дети чинно устроились на заднем сиденье “ситроена” и с дипломатически нейтральными минами смотрели, как Клод с генералом курят перед капотом автомобиля. Достав список, я принялся вызывать всех по порядку, проверять фамилии и рассаживать людей по автобусам. Согласно предупреждениям, каждый взрослый и подросток имел при себе не более одного чемоданчика или саквояжа; некоторые из детей прижимали к себе тонкие одеяльца или гипсовых кукол со зверскими ухмылками на западных личиках. Бон был замыкающим; он придерживал под локоть Линь, а она, в свою очередь, вела за собой сына. Дык совсем недавно научился как следует ходить; в одной руке он сжимал желтенькую йо-йо, мой подарок, привезенный из Штатов. Я отдал мальчугану честь. Серьезно насупившись, он остановился, высвободил свою руку из материнской и ответил мне тем же. Все здесь, сообщил я генералу. Тогда поехали, сказал он и раздавил сигарету каблуком.

Напоследок генерал должен был распрощаться со своим слугой, поварихой, экономкой и тремя молоденькими гувернантками. Кое-кто из них просил взять его с собой, но генеральша ответила твердым отказом – она считала, что и так уже проявила чрезмерную щедрость, заплатив за подчиненных мужа. Что ж, она была права. Я знал по крайней мере одного генерала, который продал места, отпущенные на его штабных, по самой высокой цене из возможных. Теперь на крыльце плакали все, за исключением престарелого слуги с лиловым аскотским галстуком на дряблой шее. Он состоял при генерале ординарцем, когда тот был еще лейтенантом; оба под

началом французов участвовали в кошмарной для них битве за Дьенбьенфу. Сейчас генерал не мог заставить себя посмотреть старику в глаза. Простите, сказал он, склонив непокрытую голову и сжимая в кулаке фуражку. До этого я никогда не слышал, чтобы он извинялся перед кем-нибудь, кроме своей супруги. Вы служили нам верой и правдой, а мы не сумели отплатить вам по достоинству. Но ни с кем из вас не случится ничего плохого! Возьмите на вилле все, что вам захочется, и уходите. Если спросят, не говорите, что знали меня и что когда-то у меня работали. А я... я даю вам клятву, что не брошу сражаться за свою страну! Тут генерал прослезился, и я протянул ему свой платок. В наступившей тишине раздался голос слуги: я прошу только одного, сэр. Чего же, мой друг? Дайте мне пистолет, чтобы я мог покончить с собой! Генерал покачал головой и вытер глаза моим платком. Ничего подобного ты не сделаешь. Иди домой и жди моего возвращения. Тогда я дам тебе пистолет. Слуга хотел было отдать честь, но вместо этого генерал пожал ему руку. Сегодня о генерале ходят разные пересуды, но я могу засвидетельствовать: он был искренний человек и верил во все, что говорил, даже если это была ложь, а значит, едва ли так уж сильно отличался от большинства из нас.

Генеральша выдала каждому остающемуся доллары в конвертах толщиной, пропорциональной рангу получателя. Генерал вернул мне платок и проводил супругу к "ситроену". В этой заключительной поездке он сам намеревался сесть за обтянутый кожей руль и повести за собой автобусы. Я буду во втором, сказал Клод. Ты бери первый и проследи, чтобы шофер не заблудился. Прежде чем влезть в автобус, я помедлил у ворот, чтобы бросить последний взгляд на виллу, сооруженную во время оно для корсиканских владельцев каучуковой плантации. Над ее крышей раскинулся гигантский тамаринд – его длинные бугристые стручки с кислой начинкой свисали вниз, как пальцы мертвецов. На просцениуме перед дверьми по-прежнему кучкой стояли слуги. Я помахал им на прощание, и они смиренно помахали мне в ответ, сжимая в

опущенных руках белые конверты, которые в лунном свете стали билетами в никуда.

* * *

Добраться от виллы до аэропорта было настолько просто, насколько это вообще возможно в Сайгоне, а значит, совсем не просто. Едешь от ворот направо по Тхисуан, потом сворачиваешь налево на Леванкует, направо на Хонгтхапту в сторону посольств, налево на Пастёр, еще раз налево на Нгуендиньтьеу, направо на Конгли – и по прямой в аэропорт. Но вместо того чтобы повернуть по Леванкует налево, генерал повернул направо. Куда это он? – спросил наш водитель. У него были желтые от никотина пальцы и угрожающе острые ногти. Твое дело не отставать, сказал я с нижней ступеньки у дверцы, распахнутой в прохладную ночь. Первые места позади меня занимали Бон и Линь; Дык, сидящий у матери на коленях, подался вперед, заглядывая мне через плечо. Машин на улицах не было: по радио сообщили, что из-за налета на аэропорт в городе вводится круглосуточный комендантский час. Тротуары тоже опустели, разве что кое-где попадалась брошенная дезертиром армейская форма. Порой эта одежда лежала так аккуратно – каска поверх куртки, сапоги под штанами, – словно ее владельца выжгли из нее бластером. Даже в нашей южной столице, где ни одна вещь не пропадала зря, до этих мундиров никто не дотрагивался.

В моем автобусе ехали как минимум несколько военных, одетых в гражданское; прочие были генеральской родней, состоящей в основном из женщин и детей. Эти пассажиры переговаривались между собой, жалуясь на то или сё, но я пропускал их брюзжанье мимо ушей. Даже попав в рай, вьетнамец не упустит случая заметить, что в аду теплее. Почему он поехал этой дорогой? – спросил водитель. Неужто забыл про комендантский час? Нас всех расстреляют или по крайней мере посадят. Бон вздохнул и покачал

головой. Он же генерал, сказал мой друг, как будто это все объясняло – а впрочем, так оно и было. Тем не менее шофер не унимался. Мы миновали Центральный рынок, свернули на Лелой, и он перестал ворчать только тогда, когда генерал наконец затормозил на площади Ламшон. Перед нами возвышался греческий фасад здания Национальной ассамблеи, бывшего оперного театра. Именно отсюда наши политики управляли разыгрывающимся у нас в стране балаганным фарсом, дешевой комической опереткой, где блистали упитанные дивы в белых костюмах и усатые примадонны в сшитых на заказ военных мундирах. Высунувшись и задрав голову, я увидел ярко освещенные окна бара на крыше отеля “Каравелла”, куда генерала частенько приглашали на аперитив и встречи с журналистами, а он прихватывал с собой и меня. С балконов этого заведения открывался непревзойденный вид на Сайгон и его окрестности, и сейчас оттуда плыл далекий смех. Должно быть, собравшиеся там дипломаты из нейтральных стран и заграничные репортеры, готовые измерить городу температуру под его предсмертный хрип, любовались заревом над складом боеприпасов в Лонгбине и росчерками трассирующих снарядов, которые медленно гасли во тьме, как заблудившиеся мысли.

На меня накатило желание пальнуть на этот смех разок-другой, просто чтобы они там не заскучали. Когда генерал вылез из машины, я подумал, что и ему захотелось того же, но он повернулся в другую сторону, от здания Национальной ассамблеи к уродливому памятнику на травяной разделительной полосе. Я пожалел, что “кодак” у меня в рюкзаке, а не в кармане: стоило бы запечатлеть, как генерал отдает честь двоим массивным пехотинцам, рвущимся вперед, причем второй из них при этом едва не утыкается носом в зад своему товарищу. Бон и все остальные мужчины в автобусе последовали примеру генерала, а я тем временем гадал, что же все-таки делают эти герои – защищают народ, который прогуливается вокруг в погожий денек, или, с не меньшей вероятностью, атакуют здание Национальной ассамблеи, на которое направлены их

пулеметы. У кого-то из пассажиров вырвалось рыдание, я тоже отдал честь и вдруг сообразил, что эти версии, в общем, не противоречат друг другу. Наши ВВС бомбили президентский дворец, наши армейцы застрелили и закололи нашего первого президента вместе с его братцем, а наши вечно недовольные генералы состряпали столько государственных переворотов, что и не счесть. После десятого путча я стал относиться к нашему абсурдному государству со смесью злости и отчаяния, слегка сдобренной юмором, и под влиянием этого коктейля освежил свои политические клятвы.

Удовлетворенный, генерал вернулся за руль, и наша процессия тронулась дальше. Покидая площадь, мы пересекли Тудо, улицу с односторонним движением, и я мельком увидел кафе “Живраль”, где лакомился французским ванильным мороженым на свиданиях с благовоспитанными сайгонскими девицами и их сушеными тетками-дуэньями. Чуть дальше находилось другое кафе, “Бродар”, – поедая там аппетитные блинчики, я изо всех сил старался не замечать нищих, которые ползли и ковыляли мимо бесконечной вереницей. У кого были руки, тот протягивал их за милостыней, у кого их не было, тот держал в зубах за козырек бейсбольную кепку. Инвалиды войны хлопали пустыми рукавами, как нелетающие птицы, немые старики гипнотизировали посетителей змеиным взглядом, бездомные сироты рассказывали о себе фантастические душераздирающие истории, молодые вдовы баюкали золотушных детей, с большой вероятностью взятых напрокат, а разнообразные калеки бахвалились самыми тошнотворными из всех известных человечеству недугов. Еще дальше к северу на Тудо был ночной клуб, где я отплясывал ча-ча-ча с юными леди в мини-юбках и наимоднейших туфлях с убийственными для стоп каблуками. Когда-то на этой улице селили своих холеных любовниц порфиноносные французы, затем им на смену пришли более вульгарные американцы, которые надирались в аляповатых барах вроде “Сан-Франциско”, “Нью-Йорк” и “Теннесси” с неоновыми вывесками и музыкальными автоматами, начиненными музыкой кантри. Тот, кого

после дебоша мучила совесть, мог дотащиться до каменной базилики в конце улицы, куда генерал и привел нас через Хайбачынг. Перед кирпичным фасадом церкви стояла белая статуя Богородицы – руки распростерты в знак мира и прощения, взгляд опущен долу. Тогда как она и ее сын Иисус Христос готовы были принять любого местного грешника, их высокомерные жрецы, в том числе мой отец, чаще шпыняли меня, нежели привечали. Поэтому наши тайные встречи с Маном по моей просьбе всегда происходили именно здесь, в базилике: нам обоим нравилось изображать из себя верующих, поскольку в другом смысле мы ими и были. Смакуя эту иронию, мы смиренно преклоняли колени – атеисты, поставившие коммунизм выше Бога.

Мы встречались по средам, под вечер. В эту пору церковь была почти пуста – лишь с десяток аскетичных вдовиц почтенного возраста в кружевных мантильях и черных платках бормотали: *Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое...* Я уже отвык молиться, но невольно повторял вслед за ними отдельные слова. Крепкие, как пехотинцы-ветераны, эти старухи бесстрастно отсиживали воскресные мессы в переполненном зале, где пожилые и хворые иногда падали в обморок от жары. На кондиционеры не хватало денег по бедности, но тепловой удар тоже был способом продемонстрировать свою непоколебимую веру. Католиков набожнее, чем в Сайгоне, трудно было найти – многие из них, как моя мать вместе со мной, уже бежали от коммунистов в пятьдесят четвертом (меня, девятилетнего, тогда никто ни о чем не спрашивал). Мана, тоже бывшего католика, эти свидания в церкви весьма забавляли. Покуда мы притворялись благочестивыми офицерами, которым мало одной мессы в неделю, я докладывал ему обо всех своих личных и политических прегрешениях. Он, в свою очередь, играл роль моего исповедника и назначал мне епитимью в форме распоряжений, а не молитв.

В Америку? – спросил я.

В Америку, подтвердил он.

Я сообщил ему о генеральском плане эвакуации, как только узнал о нем, и в последнюю среду получил в базилике новое задание. Оно исходило от вышестоящих органов, но от кого именно, я не знал. Так было безопаснее. Эта система практиковалась еще с наших лицейских дней, когда мы, вступив в учебную ячейку, украдкой двинулись по своей тропе, тогда как Бон продолжал открыто шагать по общепринятому маршруту. Кроме меня и Мана, создателя ячейки, в нее входил еще один наш ровесник. Под руководством Мана мы изучали революционную классику и познавали основы партийной идеологии. Мне было известно, что Ман числится и в другой ячейке на правах младшего ее члена, но личности его соратников оставались для меня тайной. Секретность и иерархия имели для революции принципиальное значение. Над ним, сказал Ман, стоит комитет из идейных товарищей. Над этим комитетом есть другой, из еще более идейных, а над тем еще, и так далее, и так далее, а венчает эту пирамиду, по всей видимости, не кто иной, как Дядюшка Хо (по крайней мере, венчал в годы его жизни) – самый идейный товарищ на свете, заявивший во всеуслышание, что НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ. За эти слова мы охотно пошли бы на смерть. Этот язык, жаргон ячеек, комитетов и партий, легко давался Ману. Он унаследовал революционный ген от двоюродного деда, которого в Первую мировую забрали на службу во французскую армию. Он копал могилы, а самый лучший способ расшевелить жителя колоний – это показать ему белых людей голыми и мертвыми. Так говорил этот дед, во всяком случае, по словам Мана. Он погружал руки в их склизкие розовые кишки, неторопливо разглядывал их жалкие сморщенные пенисы и блевал при виде их гниющих мозгов, похожих на яйца всмятку. Пока он тысячами хоронил отважных юношей в коконах надгробных дифирамбов, сотканных пауками-политиками, в капилляры его сознания медленно просачивалось понимание того, что свои лучшие ресурсы Франция приберегает для родной почвы. На Индокитай отправляли посредственностей, укомплектовывая колониальную

бюрократию школьными хулиганами, чудаками из шахматного клуба, прирожденными бухгалтерами и застенчивыми синими чулками – всех их двоюродный дед Мана теперь наблюдал в естественной среде обитания как изгоев и неудачников. И в этой-то швали, возмущался он, нас учат видеть белых полубогов? Его антиколониализм стал еще радикальнее, когда он влюбился во француженку-медсестру, троцкистку, убедившую его примкнуть к французским коммунистам – единственным, кто предлагал приемлемый ответ на индокитайский вопрос. Ради нее он вкусил горький чай изгнания. Позже у них с медсестрой родилась дочь, и, передавая мне крошечный бумажный листочек, Ман шепнул, что она – его тетка – все еще там. На листочке были ее имя и адрес в Тринадцатом арондисмане Парижа; близкая нам по духу, она никогда не состояла в Коммунистической партии, а значит, вряд ли находилась под надзором. Сомневаюсь, что ты сможешь отправлять письма на родину, так что она будет посредницей. Она портниха с тремя сиамскими кошками, без детей, ничем себя не скомпрометировала. Ей и пиши.

Теребя в руке этот листок, я вспомнил придуманный накануне эффектный сценарий: я отказываюсь садиться в самолет Клода, и генерал тщетно уговаривает меня изменить свое решение. Я хочу остаться, сказал я. Все почти кончено. Ман вздохнул, молитвенно сложив руки. Почти кончено? *Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя.* Не один твой генерал намерен продолжать борьбу. Старые кадры не сдаются. Слишком долго они воевали, чтобы просто взять и перестать. Нам надо, чтобы кто-нибудь за ними приглядывал и следил, как бы они не заварили чересчур крутую кашу. А что будет, если я не поеду? – спросил я. Ухмыльнувшись, Ман поднял глаза на истерзанного зеленоватого Христа с европейскими чертами лица, распятого на кресте высоко над алтарем; чресла его прикрывала лживая повязка, хотя по всей вероятности он умер голым. Зубы моего друга отличались удивительной белизной для страны, где большинство зубов либо желтые, цвета старой слоновой кости, либо

черные, в налете от бетеля. Там ты принесешь больше пользы, чем здесь, сказал этот сын дантиста. И если не хочешь лететь ради себя, сделай это ради Бона. Он не поедет, если узнает, что ты остаешься. Впрочем, ты ведь в любом случае хочешь поехать. Признайся!

Хватит ли у меня духу на это признание? На эту исповедь? Америка, край супермаркетов и супермагистралей, Супермена и Суперкубка, суперлайнеров и супернебоскребов! Страна, которая после своих кровавых родов не просто дала себе имя, но впервые в истории выбрала для него загадочный акроним, США, – трио букв, лишь впоследствии превзойденное квартетом СССР. Хотя всякой стране чудится, что она в каком-то смысле “супер”, была ли еще на свете страна, отчеканившая в федеральном банке своего нарциссизма столько слов с этой приставкой, супермощная супердержава, уверенная, что у нее есть святое право скрутить двойным нельсоном все прочие страны мира и заставить их воспевать дядю Сэма? Ладно, признаюсь! – сказал я. Хочу! Он усмехнулся и сказал: ты у нас счастливчик. А вот я никогда не выезжал за пределы нашей прекрасной родины. Счастливчик, говоришь? По крайней мере, здесь ты чувствуешь себя дома. Это чувство переоценивают, заметил он. Мне трудно было возразить – тем более ему, человеку, чьи отец с матерью вели сравнительно обеспеченную жизнь, а братья и сестры не разделяли его революционных убеждений. Это была обычная картина: семьи, расколотые пополам, одни сражаются за Север, другие за Юг, одни коммунисты, другие националисты. Но, несмотря на все противоречия, каждый считал себя патриотом, борющимся за родную страну, где он свой. Когда я напомнил ему, что никогда не был здесь своим, он ответил: как и в Америке. Может быть, сказал я. Но родился-то я не там, а здесь.

Выйдя из базилики, мы распрощались – по-настоящему, а не притворно, как позже с Боном. Я оставляю тебе свои книги и пластинки, сказал я. Ты же всегда мечтал их заграбастать. Спасибо, сказал он, крепко пожимая мне руку. И удачи тебе! Когда я вернусь

обратно? – спросил я. Глядя на меня с искренним сожалением, он ответил: дружище, я подпольщик, а не провидец. Дата твоего возвращения будет зависеть от того, что замышляет твой генерал. И теперь, когда генерал проезжал мимо базилики, я не знал, что он замышляет, кроме своего бегства из страны. Я только предполагал, что его намерения серьезнее крикливых лозунгов на обочинах бульвара, ведущего к президентскому дворцу, который недавно атаковал на бреющем полете один взбунтовавшийся летчик: *Ни пяди земли коммунистам! Нет коммунизму на Юге! Нет коалиционному правительству! Нет переговорам!* Я уже видел впереди пост с козырьком и замершего под ним бесстрастного часового, но не успели мы достичь дворца, как генерал – слава богу! – наконец-то взял курс на аэропорт, свернув по Пастёр направо. Где-то вдалеке строчил отрывистыми неровными очередями крупнокалиберный пулемет. Потом глухо бухнула мортира, и Дык захныкал на руках у матери. Тихо, милый, сказала она. Мы просто едем в путешествие. Бон погладил сына по тонким волосикам и сказал: увидим мы еще когда-нибудь эти улицы? Давай верить, что увидим, ответил я. Согласен?

Бон обнял меня за плечи, мы вместе втиснулись на нижнюю ступеньку и, держась за руки, высунули головы наружу. Из-за штор и ставен мрачных жилых домов, скользящих мимо, просачивался свет и выглядывали любопытные глаза. Повернувшись лицом к ветру, мы вдыхали смешанный запах гари и жасмина, эвкалипта и гниющих фруктов, бензина и аммиака – смрадную отрыжку страдающего несварением города с плохой ирригацией. На подступах к аэропорту над нами проревела крестовидная тень самолета без единого огонька. Вскоре показалась ограда из колючей проволоки, провисающей со стариковским унынием. За ней ждал угрюмый взвод военной полиции во главе с лейтенантом – в руках винтовки, на поясах дубинки. Лейтенант подошел к “ситроену” и нагнулся к окошку генерала, чтобы обменяться с ним парой слов. Когда он взглянул на меня, высунувшегося из автобуса, мое сердце дало

перебой. По наводке корыстолюбивого майора я нашел его в трущобах на берегу канала – он жил там с женой, тремя детьми, родителями и родственниками со стороны жены, пытаюсь прокормить их всех на свое жалованье, крошечное даже по нашим меркам. Таков был обычный удел молодого офицера, но целью моего визита на прошлой неделе было выяснить, какого человека вылепила судьба из этой жалкой глины. Сидя в одном исподнем на своей деревянной кровати, общей с женой и детьми, лейтенант напоминал политического узника, только что брошенного в клетку с тиграми: испуганный, но физически еще не пострадавший. Вы хотите, чтобы я всадил своей стране нож в спину, бесцветным голосом сказал он, держа в руке нераскуренную сигарету, которую я ему дал. Хотите, чтобы за ваши деньги я позволил трусам и предателям сбежать. И чтобы склонил к тому же моих людей.

Я слишком уважаю вас, чтобы отпираться, сказал я. Это говорилось в основном ради присяжных – его жены, родителей и тещи с тестем, которые стояли или сидели на чем придется, в частности на корточках, в этой тесной и душной лачужке с жестяной крышей. С голодухи у них выпирали скулы – такое я видел у своей матери, столько раз отдававшей мне последний кусок. Я восхищаюсь вами, лейтенант, сказал я, не кривя душой. Вы честный человек, а тем, кто должен кормить семью, трудно оставаться честными. Чем я могу вас вознаградить? Разве что предложить вам три тысячи долларов. Это равнялось месячному жалованью целого взвода. Его жена выполнила свой долг, потребовав десять. В конце концов мы сошлись на пяти – половина сейчас, вторая в аэропорту. Когда наш автобус проезжал в ворота, он выхватил у меня из руки конверт с деньгами, и я увидел в его глазах знакомое выражение – такое же было у коммунистической шпионки, когда я вытащил у нее изо рта список с именами. Мой рискованный расчет оправдался: он мог пристрелить меня или развернуть нас, но поступил как любой честный человек, которого вынудили принять взятку. Он пропустил нас всех, потому что нарушить данное мне обещание значило

расстаться с последним фиговым листком своего достоинства. Я отвел глаза, чтобы не видеть его унижения. Если бы – разрешите мне побаловаться сослагательным – если бы Южная армия состояла только из таких, как он, то она победила бы. Мне хочется воображать, что в каких-то отношениях я похож на него. Всегда разумнее восхищаться лучшими из наших врагов, чем худшими из наших друзей. Вы согласны со мной, комендант?

Когда мы добрались до аэропорта, миниатюрного города за пределами Сайгона, было уже почти девять. Мы ехали по улицам с асфальтовым покрытием мимо длинных барачных, полукруглых ангаров, безликих контор и кирпичных складов. Когда-то эта полуавтономная территория была одним из самых оживленных аэропортов мира, узловой точкой для бесчисленных рейсов и миссий как летального, так и нелетального характера, в том числе осуществляемых при посредстве “Эйр Америка”, авиалинии ЦРУ. Наши генералы держали здесь свои семьи, а американские плели коварные замыслы в кабинетах, обставленных импортной металлической мебелью. Сейчас мы направлялись в комплекс, возглавляемый военным атташе. С типичной для них бестактностью американцы прозвали этот комплекс “Додж-сити” в честь города, где в эпоху Дикого Запада правили кольты и девицы отплясывали в салунах канкан. Примерно то же самое происходило и здесь с той разницей, что в настоящем Додж-сити за порядком следили шерифы, а здешний эвакуационный центр охраняли американские морпехи. Я не видел их в таком количестве с семьдесят третьего года – тогда они улетали отсюда после поражения, оборванные и понурые. Но эти молодые ребята провели в нашей стране всего пару недель и еще не бывали в бою. Ясноглазые и чисто выбритые, без единой отметины от шприца на сгибах локтей и в целехонькой глаженной форме, от которой не пахло марихуаной, даже если хорошенько принюхаться, они бесстрастно смотрели, как наши пассажиры выгружаются из автобусов на стоянке, где уже толпились сотни других взволнованных беженцев. Я подошел к “ситроену” в тот

момент, когда генерал отдавал Клоду ключи. В Штатах я верну их вам, сэр, сказал Клод. Нет, оставьте в зажигании, сказал генерал. Не хочу, чтобы машину покалечили, когда будут красть, а украдут ее в любом случае. Пока можете, пользуйтесь сами, Клод.

Потом генерал отправился искать в толпе свою супругу с детьми, а я сказал: что тут происходит? Ну и толкотня! Клод вздохнул и пожал плечами. А чего ты хочешь? Обстановка в норме, то есть полный бардак. Все стараются вывезти отсюда своих родственников, поваров, любовниц. Считай, что тебе повезло. Знаю, сказал я. Увидимся в Штатах? Он дружески хлопнул меня по плечу. Прямо как в пятьдесят четвертом, сказал он. Тогда тоже спасались от коммунистов. Кто бы мог подумать, что мы снова здесь окажемся? Но я вытащил тебя с Севера, а теперь вытасу с Юга. Так что не горюй!

Когда Клод уехал, я вернулся к эвакуируемым. Через мегафон им велели построиться в шеренги, но вьетнамцы не привыкли к очередям. Наша обычная тактика в ситуации, когда уровень спроса значительно превышает уровень предложения, состоит в том, чтобы тесниться, давиться, толкаться и пихаться, а если все это не работает, льстить, подкупать, преувеличивать и лгать. Трудно судить, то ли это что-то генетическое, неотъемлемая часть нашей культуры, то ли плод стремительного эволюционного развития. Нас заставили адаптироваться к десяти годам жизни в условиях экономики мыльного пузыря, поддерживаемой исключительно американским импортом, к трем десятилетиям то вспыхивающей, то затихающей войны, к распиливанию страны пополам в 1954-м зарубежными фокусниками, к короткой японской оккупации во Вторую мировую и к долгому предыдущему столетию отечески добродушных измывательств французов. Однако морпехи чихать хотели на все эти оправдания, и под их грозными взглядами беженцы все же постепенно выстроились в ряды. Когда нас стали проверять на наличие оружия, мы, офицеры, покорно и грустно сдали свое. Мой короткоствольный револьвер тридцать восьмого калибра годился

разве что для секретных операций, игры в русскую рулетку и самоубийства, но Бону пришлось расстаться с мужественным полуавтоматическим кольцом сорок пятого калибра. Эту пушку изобрели во время войны на Филиппинах, чтобы убивать тамошних воинов-мусульман одним выстрелом, сказал я Дыку. Мне поведал об этом Клод, хранитель большого количества тайных знаний такого рода.

Разоружившись, мы направились к столу посольского чиновника, молодого щеголя со старосветскими бакенбардами, в бежевом костюме сафари и тонированных очках с розовыми линзами. Документы! – сурово скомандовал он. У каждого главы семьи были выездные бумаги от Министерства внутренних дел, которые я приобрел с солидной скидкой, а также разрешение на въезд в США, добытое Клодом и проштампованное в посольстве. Мы еще послушно стояли в очереди, но эти разрешения уже открывали нам дверь иммиграции, подтверждая, что мы опередили несметные легионы прочих бедняг со всего мира, жаждущих вдохнуть воздух свободы. Мы пронесли это маленькое утешение с собой на теннисные корты, где был организован перевалочный пункт. Те, кто пришел раньше, уже заняли все трибуны, и мы присоединились к нашим менее расторопным землякам, пытающимся задремать на твердом зеленом покрытии. Красные маскировочные лампы заливали эту публику слабым жутковатым сиянием. Была тут и горстка американцев – в основном женатых на вьетнамках, о чем можно было догадаться по тесному кольцу вьетнамской семьи почти около каждого или по предполагаемой супруге, которая сидела к нему вплотную, как прикованная. Мы с Боном, Линь и Дыком устроились на свободном местечке. С одной стороны от нас приютилась стайка девушек по вызову в вакуумной упаковке из миниюбок и ажурных чулок, с другой – американец при жене и детях, мальчике и девочке, навскидку пяти и шести лет. Муж распростерся навзничь, закинув на глаза мясистую руку, так что были видны только две пушистые колбаски его моржовых усов,

розовые губы да кривоватые зубы. Дети положили головы матери на колени, и она гладила их по русым волосам. Долго вы здесь? – спросила Линь, баюкая на руках сонного Дыка. С самого утра, ответила соседка. Чуть не умерли, так было жарко! Ни поесть, ни попить нечего. Объявляют номера рейсов, а нашего все нет. Линь сочувственно охала и цокала языком, покуда мы с Бонем привыкали к переходу во вторую фазу стандартного режима всех военных мира – утомительной чересполосицы спешки и ожидания.

Мы закурили и стали глазеть в темное небо, куда время от времени взмывали сперматозоиды сигнальных ракет. Вспыхнув, их яркие головки медленно дрейфовали вниз, оставляя за собой извилистый дымный хвост. Сказать тебе честно? – спросил Бон. Он всегда расходовал слова, как пули, – короткими контролируемые очередями. Я знал, что этот день наступит. Просто не говорил вслух. Прятал голову в песок – так это называется? Я кивнул и сказал: ты коришь себя за то, в чем можно обвинить любого сайгонца. Мы все знали, но ничего не могли поделать... по крайней мере, мы так считали. Но мало ли что может произойти! На том и стоит надежда. Он пожал плечами, упершись взглядом в тлеющий кончик своей сигареты. Надежда – она жидкая, сказал он. А отчаяние густое. Как кровь. Он повернул ко мне ладонь руки, в которой держал сигарету; на ней, вдоль линии жизни, темнел маленький шрамик. Помнишь?

Я поднял свою правую руку с аналогичным шрамом. Такой же был и у Мана. Эти метки попадались нам на глаза всякий раз, когда мы разжимали руки, чтобы взяться за бутылку, сигарету, пистолет или женщину. Как воины из древних преданий, мы поклялись умереть друг за друга, плененные романтикой школьной дружбы, объединенные теми признаками благородства, которые видели друг в друге: верностью, честностью, твердостью духа, готовностью защищать друзей и отстаивать свои убеждения, даже если они у нас разные. Но во что мы верили, когда нам было четырнадцать? Друг в друга и в наше братство, в нашу родину и в независимость. Мы верили, что сможем, будучи призванными, пожертвовать собой друг

ради друга и ради нашей страны, но не знали, как именно нас призовут и кем мы станем. Я не мог предсказать, что Бон войдет в ряды исполнителей операции “Феникс”, чтобы отомстить за смерть отца, и ему будет предписано убивать тех, кого мы с Маном считали своими товарищами. А искренний, добросердечный Бон не знал, что мы с Маном всей душой поверим в необходимость спасения нашей родины революционным путем. Каждый из нас троих был верен своим политическим взглядам, но эта верность, по сути, имела те же самые корни, что и наше кровное братство. Попади мы в ситуацию, где за это братство надо было бы отдать жизнь, ни я, ни Ман не замешкались бы ни на секунду. Мы носили подписи под нашим договором у себя на ладонях, и теперь, в неверных отблесках далекого магниевого факела, я поднял руку со шрамом и легонько провел по нему пальцем. Мы с тобой одной крови, сказал я, повторяя клятву нашего детства. И знаешь что? – откликнулся Бон. Отчаяние густое, но дружба еще гуще. После этого говорить было уже нечего, и нам с Боном, заново убедившимся в прочности нашего союза, осталось только слушать “катуши”, чьи снаряды шипели вдалеке, точно библиотекари, требующие тишины.

Глава 3

Спасибо вам, уважаемый комендант, за те замечания, которыми вы с комиссаром удостоили мое признание. Вы спрашиваете, почему я так часто употребляю слова “мы” или “нас”, будто бы солидаризируюсь с беженцами и военными из Южной армии, тогда как меня отрядили за ними шпионить. Разве я не должен называть этих людей, своих врагов, словом “они”? Признаюсь, проведя в их обществе почти всю жизнь, я не могу им не сочувствовать, так же как и многим другим. Сочувствовать другим – моя слабость, наверняка связанная с моим происхождением, хотя я отнюдь не утверждаю, что любой незаконнорожденный склонен к сочувствию от природы. Не зря же нас порой именуют ублюдками – многие и ведут себя как ублюдки, но моя добрая мать с молодых ногтей внушила мне, что переступать грань между “они” и “мы” бывает иногда весьма полезно. В конце концов, если бы она не переступила грань между служанкой и священником или не пустила за нее моего отца, я бы и вовсе не появился на свет.

Не постесняюсь признаться, что меня, рожденного вне брака, ничуть не привлекает мысль о собственной женитьбе. У незаконных детей тоже есть свои бонусы, и один из них – это возможность остаться бобылем. Мало кто видел во мне завидного жениха; пожалуй, я мог бы сгодиться для невесты смешанного происхождения, хотя в таких случаях девица обычно жаждет втиснуться в социальный лифт посредством брака с чистокровным юношей. Многие видят в моем одиночестве часть моей личной трагедии – трагедии бастарда, но я считаю, что холостяцкая жизнь не только дает мне свободу, но и как нельзя лучше подходит к моей нелегальной деятельности. Кроту удобнее рыть свои ходы одному. Вдобавок как холостяк я мог без всяких последствий болтать с проститутками, которые дерзко демонстрировали окружающим свои стройные ножки, попутно обмахивая вчерашним таблоидом

влажные холмы груди, едва прикрытых бюстгальтерами атомной эры. Девушки называли себя Мими, Фифи и Тити – имена, для полусвета вполне обычные, однако в комплекте наполнившие мою душу восторгом. Возможно, они выдумали их прямо на месте; в конце концов, менять имена не сложнее, чем клиентов. Если так, их лицедейство было просто-напросто профессиональным рефлексом, выработанным годами упорных тренировок и искренней самоотдачи. Профессиональные проститутки всегда вызывали у меня глубокое уважение: в отличие от юристов, они не прячут свое бесчестие от чужих глаз, хотя и те и другие берут почасовую оплату. Впрочем, финансовая сторона здесь не главное. Правильное отношение к проститутке схоже с поведением завязатого театрала, умеющего устроиться в кресле поудобнее и забыть о своем скепсисе до конца спектакля. Глупо твердить, что актеры просто втирают вам очки, поскольку вы заплатили за билет, и не менее глупо безоговорочно верить в то, что вам показывают, становясь таким образом жертвой иллюзии. К примеру, взрослые люди, которые язвительно усмеваются, слушая байки о встречах с единорогом, готовы рвать на груди рубаху, утверждая, что по свету бродят еще более редкие, совсем уж мифические существа. Одно из них, обитающее лишь в самых далеких портах и темных недрах самых зланных трактиров, – это проститутка с пресловутым золотым сердцем. Уверяю вас, если в проститутках и есть что-нибудь золотое, то уж никак не сердце. Если кто-то считает иначе, это говорит лишь о том, как добросовестно они порой исполняют свою роль.

Наши соседки явно относились к числу матерых актрис, чего нельзя было сказать о семидесяти или даже восьмидесяти процентах проституток в столице и за ее пределами – трезвые оценки, людская молва и выборочные пробы позволяли оценить их количество в десятки, а может быть, и сотни тысяч. В большинстве своем это были бедные неграмотные дочери тех самых униженных и разоренных селян. При больных родителях, куче братишек с сестренками и почти полном отсутствии образования они волей-неволей превращались в

блех, паразитирующих на шкуре девятнадцатилетнего американского солдата. С разбухшей от инфляции пачкой долларов в кармане и воспаленным мозгом подростка, страдающего желтой лихорадкой, которая так часто поражает наших западных гостей, этот американский солдат к своему изумлению и восторгу обнаружил, что здесь, в зеленогрудой Азии, он больше не Кларк Рид, а Супермен – во всяком случае, по отношению к женщинам. Обласканная – или придушенная? – Суперменом, наша плодородная маленькая страна перестала производить в значительных объемах рис, олово и каучук, но взамен начала ежегодно приносить рекордные урожаи проституток: не успевала приехавшая из глухомани девица в первый раз станцевать под рок-музыку, как сутенеры (по-нашему, ковбои) уже нашлепывали на ее трясущиеся деревенские титьки звездочки из фольги и выгоняли ее на подиум в каком-нибудь баре на Тудо. Отважусь ли я обвинить американскую армию в том, что она намеренно уничтожала наши деревни, дабы выкурить оттуда девчонок? Ведь после этого им оставалось только одно: оказывать сексуальные услуги тем самым парням, которые жгли, бомбили, грабили и разоряли вышеупомянутые деревни или как минимум насильно эвакуировали оттуда всех жителей. Я лишь отмечаю, что массовый выпуск местных проституток на потеху иностранным пиратам – это неизбежное следствие оккупации, один из тех гнусных побочных эффектов войны, которые предпочитают игнорировать все жены, сестры, подруги, матери, пасторы и политики из мирных заокеанских городков, встречающие своих доблестных воинов ослепительными белозубыми улыбками и готовые исцелить любую неприличную хворь пенициллином американской добродетели.

Между тем, великолепную троицу наших соседок никак нельзя было назвать добродетельной. Бесстыдно флиртуя со мной, они не забывали поддразнивать Бона и американца с моржовыми усами, очнувшегося от сна. Оба только кривились и старались стать как можно меньше и незаметнее, отлично понимая, что означает

угрюмое молчание их жен. Я же, напротив, охотно откликался на их заигрывания, прекрасно отдавая себе отчет в том, что за маской каждой из этих дам полусвета прячется иная личность, способная разбить мне сердце (и наверняка обнулить мой банковский счет). Разве я сам, подобно им, не скрывал в себе иную личность? Но лицедеи лицедействуют (по крайней мере отчасти), чтобы забыть свою грусть, – черта, хорошо мне знакомая. Люди вроде нас флиртуют и веселятся, давая всем возможность прикидываться счастливыми до тех пор, пока и другие, и они сами, возможно, и вправду не почувствуют себя таковыми. Да и смотреть на них было чистое удовольствие! Мими была высокая, с длинными прямыми волосами, и все двадцать ее ногтей, покрытых розовым лаком, блестели, как мармеладки. При звуках ее голоса с хрипотцой и таинственными обертонами уроженки Хьюэ мои кровяные сосуды сжимались, вызывая у меня легкое головокружение. Хрупкой малютке Тити добавляла росту волшебная прическа в стиле “пчелиный улей”. Ее бледная кожа просвечивала, как яичная скорлупа, на ресницах дрожали крошечные стразы-росинки – мне хотелось обнять ее и пощекотать ее ресницы своими. Изгибы тела Фифи, явно их предводительницы, напоминали мне дюны Фантхьета, где мы с матерью провели ее единственный в жизни отпуск. Мама куталась с ног до головы, чтобы не стать еще смуглее, а я самозабвенно копался на солнце в горячем песке. Эта детская память о тепле и блаженстве была разбужена духами Фифи: они пахли так же, как духи из крошечного флакончика медового цвета, который подарил матери отец и которым она бережливо пользовалась лишь дважды или трижды в год. Может быть, я просто вообразил себе это совпадение, но все равно сразу влюбился в Фифи – чувство вполне невинное. Я имел привычку влюбляться два-три раза в году, а все положенные сроки уже давно миновали.

Но как они умудрились проникнуть на авиабазу – разве эвакуация не относится к исключительным привилегиям богатых, влиятельных и имеющих связи? Выяснилось, что это заслуга некоего Сержанта – я

тут же представил себе шмат бугристых мускулов на двух ногах, увенчанный белой фуражкой морпеха. Сержант охраняет посольство и прямо обожает всех девочек, сказала Фифи. Он душка, лапочка, он обещал, что никогда нас не забудет, и не забыл. Две остальные горячо кивали, Мими хрустя конфеткой, а Тити – пальцами. Сержант раздобыл автобус и стал разъезжать по Тудо, спасая девочек, всех, кто там был и хотел уехать. Потом он привез нас в аэропорт, а полицейским сказал, что устраивает вечеринку для бедных здешних ребят. При мысли об этом Сержанте, этом чудесном американце, который и впрямь держит свои обещания (его звали Эд, а фамилию ни одна из девушек выговорить не могла), твердый персик моего сердца созрел и размяк. Я спросил их, почему они хотят уехать, и Мими ответила: потому что коммунисты точно посадят нас как коллаборационисток. Мы для них шлюхи, сказала она. Сайгон они городом шлюх называют, слышал? Милый, я чую, когда пахнет жареным. К тому же, добавила Тити, даже если нас не арестуют, мы все равно не сможем нормально работать. Ведь в коммунистической стране ничего не продается и не покупается, верно? По крайней мере с выгодой для себя, а знаешь, что я тебе скажу, дорогуша: я никому не позволю кушать это манго даром, хоть ты коммунист, хоть кто. Тут все три восторженно загоготали и захлопали в ладоши. Они были похабны, как русские матросы, но принципы рынка понимали хорошо. И действительно, что случится с такими, как они, когда революция одержит верх? Честно признаюсь, что над этим я раньше особенно не задумывался.

В столь духоподъемном обществе время летело быстро, как проносящиеся у нас над головой С-130, но даже девушки и я устали ждать, когда наконец объявят наши номера. Час проходил за часом, время от времени дежурный с мегафоном бубнил что-то, словно раковый больной с искусственной гортанью, и горстка измученных беженцев, прихватив свои жалкие пожитки, тащилась к автобусам, чтобы отправиться на взлетную полосу. Минуло десять, потом одиннадцать. Я улегся наземь, но заснуть не мог, хотя находился в

месте, которое солдаты со своим обычным остроумием прозвали тысячезвездочным отелем. Я любовался галактикой и напоминал себе о том, какой я везучий, потом сел на корточки и выкурил с Боном еще сигаретку. Снова лег и снова не смог заснуть: мешала жара. В полночь я решил прогуляться по территории и сунул нос в туалет. Этого делать не стоило. Туалет был рассчитан на обслуживание нескольких десятков конторских работников и армейских тыловиков, а не на то, чтобы справляться с отходами жизнедеятельности тысяч эвакуируемых. Сцена у плавательного бассейна выглядела не лучше. Во все годы его существования к нему допускали только американцев и – по спецпропускам – белых из других стран, а также венгров, поляков, иранцев и индонезийцев из Чрезвычайной группы контроля и надзора, сокращенно ЧГКН. Нашу страну наводнили акронимы, и этот (еще он расшифровывался как “Чужое говно контролировать нельзя”) обозначал международную комиссию, призванную следить за соблюдением мирного соглашения после вывода американских войск. Соглашение оказалось крайне успешным: за два последних года было убито всего-навсего сто пятьдесят тысяч солдат и офицеров плюс соответствующее количество гражданских лиц. Представьте, скольких мы недосчитались бы без этого перемирия! Возможно, беженцы начали справлять в бассейн малую нужду в знак протеста против дискриминации местных жителей, но скорее всего, им просто некуда было деваться. Я тоже помочился с бортика в общем ряду, а потом вернулся на теннисные корты. Бон и Линь дремали, подперев руками подбородки, и только один Дык крепко спал у матери на коленях. Я присел на корточки, прилег, выкурил сигарету – и так продолжалось почти до четырех часов утра, когда наконец прозвучал наш номер и я распрощался с девушками, которые надули губки и взяли с меня обещание, что на Гуаме мы непременно свидимся опять.

Мы перешли с кортов на автостоянку, где ждали два автобуса, явно способных вместить в себя больше одной нашей группы в

девяносто два человека. Здесь собралось около двух сотен; генерал спросил меня, кто эти другие люди, а я переадресовал его вопрос ближайшему морпеху. Тот пожал плечами. Вы все не шибко крупные, так что мы берем из расчета пара ваших на одного нашего. Залезая в автобус вслед за расстроенным генералом, я отчасти досадовал, отчасти урезонивал себя тем, что мы привыкли к подобному обращению. В конце концов, и сами вьетнамцы относятся друг к другу так же: мы всегда набиваемся в автобусы, грузовики, лифты и вертолеты с самоубийственной беспечностью, игнорируя все рекомендации производителей и правила безопасности. Мы миримся с такими условиями, а иностранцам кажется, что они соответствуют нашим вкусам, – стоит ли этому удивляться? С американским генералом они вели бы себя иначе, пожаловался генерал, прижатый ко мне в тесном салоне. Вы правы, сэр, ответил я, но что поделаешь? В автобусе тут же стало невыносимо душно из-за стольких тел, целую ночь коптившихся под открытым небом, но до нашего “С-130 Геркулес” было рукой подать. Эти самолеты смахивают на мусоровозы с крыльями; свой груз они тоже принимают сзади, и широкая нижняя челюсть грузового люка уже была гостеприимно опущена. За ней зияло просторное чрево, слабо озаренное призрачным зеленым светом маскировочных ламп. Покинув автобус, генерал занял позицию сбоку от пандуса, и мы с ним принялись смотреть, как его семья, штабные, их родственники и еще сотня незнакомых нам людей поднимаются на борт. Их загонял туда стоящий на пандусе оператор в шлеме, похожем по размеру и форме на баскетбольный мяч. Вперед, не робейте, сказал он генеральше. И веселей, леди. Веселей, веселей.

Генеральша была так ошарашена, что даже не возмутилась. Она прошагала мимо оператора вместе с детьми, наморщив лоб в попытке разгадать бессмысленные призывы оператора к веселью. Потом я заметил на пандусе человека, который прижимал к впалой груди синюю дорожную сумку “Пан-Ам” и изо всех сил прятал от нас глаза. Я уже встречался с ним несколько дней тому назад у него

дома в Третьем районе. Мелкая сошка в Министерстве внутренних дел, он был ни низок ни высок, ни худ ни толст, ни смугл ни бледен, ни глуп ни умен. По должности простой секретаришка, чей-нибудь десятый зам, он, наверное, не видел ни приятных снов, ни кошмаров и сам был внутри таким же скучным, как его кабинет. После нашей встречи я вспоминал этого чиновника несколько раз и никак не мог восстановить в памяти его трудноуловимые черты, но теперь узнал его. Когда я хлопнул его по плечу, он вздрогнул и наконец обратил на меня глаза, черные и выпуклые, точно у чихуахуа. Надо же, какое совпадение! – сказал я. Не думал, что и вы полетите этим рейсом. Мы не получили бы своих мест, генерал, не согласись этот любезный господин нам помочь. Генерал сдержанно кивнул, обнажив зубы ровно настолько, чтобы дать понять, что ни на какое возмещение рассчитывать не стоит. Очень приятно, пробормотал секретаришка; его хлипкое тельце подрагивало, жена нетерпеливо тянула его за руку. Если бы взглядом можно было охолостить, она унесла бы мои причиндалы с собой в сумочке. После того как толпа увлекла их дальше, генерал покосился на меня и спросил: ему правда приятно? Вряд ли, сказал я.

Когда все сели, генерал жестом пригласил меня пройти в самолет. Сам он поднялся по пандусу в грузовой трюм без кресел последним. Взрослые устроились на полу или на своем багаже, дети – у них на коленях. Счастливицам достались места у переборки, где можно было уцепиться за стропы для крепления груза. Грани между силуэтами и плотью отдельных индивидуумов стерлись в насильственной интимности – таков удел второсортного человеческого материала, перевозимого единой массой, без распределения по нумерованным сиденьям. Бон с Линь и Дыком были где-то посередке, так же как и генеральша с детьми. Пандус медленно поехал вверх и захлопнулся, законсервировав нас, как червяков в банке. Оператор и мы с генералом привалились к пандусу, уткнув колени в носы сидящих впереди. Четыре турбовинтовых двигателя завелись с оглушительным грохотом,

пандус под нашими спинами задрезжал. Самолет начал выруливать на взлетную полосу. С каждым толчком всю публику мотало туда-сюда, как паству, отбивающую поклоны в такт неслышной молитве. Ускорением меня прижало к пандусу, а женщина впереди уперлась согнутой рукой мне в колени – подбородок над моим пахом, нос приплюснут к рюкзаку у меня на животе. Температура в отсеке быстро подскочила градусов до сорока, и вместе с ней выросла интенсивность наших запахов. От нас воняло потом, грязной одеждой и волнением, а к этим миазмам примешивались еще и непереносимые спутники нашего народа в беде – ароматы эвкалиптового масла и тигрового бальзама. Спасал только ветерок из открытой двери, где в позе рок-гитариста, широко расставив ноги, стоял один из членов экипажа. Правда, вместо шестиструнной электрогитары он держал у бедер винтовку М-16 с двадцатизарядным магазином. Пока мы разгонялись на полосе, я успел мельком увидеть бетонные ограждения, огромные баки, раскроенные пополам в длину, и унылый ряд обгорелых самолетов, жертв недавней бомбардировки, – вокруг были разбросаны крылья, которые им оборвали, как мухам. Все пассажиры примолкли в тревожном ожидании. Несомненно, они думали то же, что и я. Прощай, Вьетнам. Оревуар, Сайгон...

Раздался оглушительный взрыв; членов экипажа швырнуло на пассажиров, и это было последним, что я увидел, прежде чем вспышка света в проеме двери вымыла зрение из моих глаз. Генерал повалился на меня, я – на перегородку, а затем на груды своих земляков, которые вопили в истерике, брызжа мне в лицо кислой слюной. Взвизгнули шины – самолет резко занесло вправо, а когда зрение вернулось ко мне, в двери сверкало пламя пожара. Больше всего на свете я боюсь сгореть заживо. Впрочем, так же обидно, если тебя перемелет в кашу пропеллер или четвертует “катюша” – название, похожее на имя безумной оружейницы-сибирячки, отморожившей себе нос и парочку пальцев на ногах. Когда-то, на пустынном поле в окрестностях Хюэ, мне уже приходилось видеть

обугленные трупы в рваной железной утробе сбитого “Чинука”. Его топливо загорелось, и три десятка пассажиров погибли в огне – зубы оскалены в вечной обезьяньей ухмылке, тела вплавились в металл, губы и щеки исчезли, волосы превратились в пепел, кожа гладкая и инопланетно-черная, как обсидиан. В них нельзя было признать не только моих соплеменников, но и вообще человеческие существа. Я не хотел так умереть; я не хотел умереть никак и уж тем более под артиллерийским обстрелом, который вели мои товарищи-коммунисты из захваченных ими пригородов Сайгона. Чья-то рука схватила меня за грудь и напомнила мне, что я еще жив. Другая вцепилась в ухо: вопящие люди внизу старались меня спихнуть. В попытке восстановить равновесие я уперся рукой в чью-то скользкую голову, а спиной придавил генерала. Новый взрыв где-то на полосе усугубил панику. Мужчины, женщины и дети взвыли на еще более высокой ноте. Внезапно самолет перестал вращаться и замер под таким углом, что око двери смотрело уже не на пожар, а в темную пустоту, и мужской голос закричал: мы все умрем! Изобретательно ругаясь, оператор начал опускать пандус, и толпа, хлынув к выходу, понесла меня с собой задом наперед. Чтобы не оказаться затоптанным насмерть, мне оставалось только одно: прикрыть голову рюкзаком и кубарем выкатиться наружу, сбивая по дороге людей. В нескольких сотнях метров за нами упал еще один снаряд, и при свете взрыва обнаружилось, что ближайшее укрытие – бетонный разделительный барьер метрах в пятидесяти от взлетной полосы. Даже когда эта вспышка померкла, ночная тьма уже не сгустилась опять. Оба двигателя по правому борту пылали – два ярких факела, плюющих дымом и искрами.

Я стоял на четвереньках, когда Бон схватил меня за локоть и потащил. Другой рукой он тащил Линь, а она, в свою очередь, – орущего Дыка, обняв его поперек груди. Над аэропортом бушевал метеоритный ливень из ракет и снарядов, и на фоне этого апокалиптического светового шоу, спотыкаясь и падая, забыв о своих вещах, мчались к бетонному разделителю наши попутчики.

Два оставшихся двигателя ревели, обдавая их ураганным ветром, который сбивал с ног детей и едва не срывал одежду со взрослых. Те, кто достиг барьера, прятались за ним, хныча от ужаса, и когда над моей головой что-то просвистело – осколок или пуля, – я упал наземь и пополз. Бон последовал моему примеру, не отпуская Линь; на его лице застыла напряженная решимость. Когда мы наконец добрались до незанятого местечка за барьером, экипаж уже выключил двигатели. Рев смолк, но не успели мы вздохнуть с облегчением, как услышали, что в нас стреляют. Пули свистели над нами и отскакивали от барьера – очевидно, стрелки ориентировались на ярко полыхающий самолет. Наши небось, сказал Бон, сидя на корточках. Одной рукой он обнимал Дыка, зажатого между ним и Линь. Разозлились. Тоже хотят удрать. Ничего подобного, возразил я. Это северяне, они нас окружили. Впрочем, в глубине души я вполне допускал, что мой друг прав и на нас срывают злость наши собственные войска. Тут топливные баки самолета взорвались, огромный клуб огня осветил просторы летного поля, и, отвернувшись от фейерверка, я чуть не уткнулся носом в своего знакомого секретаришку. Этот непритязательный винтик государственного аппарата скорчился прямо за моей спиной, и в его собачьих глазах ясно, как призыв на рекламном плакате, читалось то же самое, что я уже видел во взорах коммунистической шпионки и лейтенанта у ворот: моя смерть доставила бы ему ни с чем не сравнимое удовольствие.

Я заслужил это, без приглашения явившись к нему в дом по адресу, полученному от корыстолюбивого майора. Действительно, у меня есть известные полномочия, сказал он, когда мы сидели у него в гостиной. Мы с коллегами распределяем визы согласно принципу справедливости. Разве справедливо, что покинуть страну могут только самые высокопоставленные или те, кому просто повезло? Я сочувственно поцокал языком. Будь на свете истинная справедливость, сказал он, уехали бы все, кто хочет. Однако такой вариант явно невозможен, что ставит работников вроде меня в

весьма затруднительное положение. Как я могу судить, кому улетать, а кому нет? В конце концов, как бы меня ни перевозили, я всего лишь скромный секретарь. Вот вы, капитан, – что бы вы делали на моем месте?

Я понимаю, в какой сложной ситуации вы очутились, сэр. Мои щеки болели от прилипшей к лицу улыбки, и мне не терпелось добраться до неизбежного финиша, но надо было отыграть середину спектакля, дабы прикрыться теми же самыми побитыми молю этическими оправданиями, которые он уже натянул до самого подбородка. Вы, безусловно, человек твердых правил, обладающий прекрасным вкусом. Тут я покивал направо и налево, демонстрируя свое восхищение опрятным домиком, явно стоившим немалых денег. Белизну оштукатуренных стен нарушали один-два геккончика и различные декоративные предметы: часы, календарь, китайский свиток и колоризированная фотография Нго Динь Зьема в лучшие дни, когда его еще не прикончили за наивную веру в то, что он президент, а не американская кукла. Теперь этот коротышка в белом костюме почитался своими собратьями, вьетнамцами-католиками, как святой, принявший достойную зависти мученическую смерть: связанный по рукам и ногам, лицо залито кровью, роршахова клякса из мозгового киселя украшает изнутри кабину американского бронетранспортера для перевозки личного состава, и это унижение запечатлено на фотоснимке, обошедшем весь мир. Его подтекст был тонок, как Аль Капоне: с Соединенными Штатами Америки шутки плохи! Главная несправедливость состоит в том, сказал я, начиная раздражаться, что честные люди в нашей стране вынуждены влачить жалкое существование. Мой патрон просит оказать ему услугу и в обмен на это шлет вам маленький знак уважения. Вы ведь могли бы прямо сейчас выдать мне девяносто две визы? Я опасался, что он отрицательно покачает головой, в каком случае готов был оставить задаток и вернуться позже, но, услышав положительный ответ, вынул конверт с четырьмя тысячами долларов – при благожелательном настрое с его стороны этой суммы хватило бы на

две визы, однако больше у меня ничего не было. Секретаришка раскрыл конверт и провел по ребру банкнот мозолистым пальцем ветерана. Ему сразу стало ясно, сколько там денег – недостаточно! Он хлопнул по щеке журнального столика белой перчаткой конверта и, точно не сумев излить таким образом все свое возмущение, дал столику вторую пощечину. Как вы смеете предлагать мне взятку, сэр!

Жестом я пригласил его сесть. Подобно ему, я тоже был человеком, попавшим в тяжелую ситуацию, вынужденным делать то, что необходимо. Справедливо ли вы поступаете, продавая визы, которые вам ничего не стоили, да и вообще, если разобраться, вам не принадлежат? – спросил я. И не будет ли справедливо, если я сейчас вызову сюда начальника местного отделения полиции и попрошу его арестовать нас обоих? И не справедливо ли будет, если он отберет у вас эти визы и сам постарается получить за них некую справедливую компенсацию? Я полагаю, что самое справедливое решение в данном случае – это вернуться к началу, когда я предлагаю вам четыре тысячи долларов за девяносто две визы, поскольку вы, коли на то пошло, вообще не должны иметь ни девяносто две визы, ни четыре тысячи долларов. В конце концов, завтра вы вернетесь на свое рабочее место и без труда раздобудете еще девяносто две визы. Это ведь просто бумажки, разве не так?

Но для бюрократа бумажки никогда не бывают просто бумажками. Бумажки – это жизнь! Он ненавидел меня тогда, потому что я отобрал его бумажки, и ненавидел теперь, но меня это нимало не беспокоило. Здесь, за бетонным разделителем, меня беспокоило другое: то, что мы вступили в новый период мучительного ожидания, только на сей раз с неопределенным исходом. Забрезжил рассвет, и нам чуточку полегчало, но взлетная полоса, облитая его слабым голубоватым сиянием, оказалась в ужасном состоянии – вся в щербинах и воронках от снарядов. Посреди этой разрухи грудой шлака дымился наш С-130, источая едкий аромат горящего топлива. Там и сям между нами и останками самолета темнели небольшие пятна – они постепенно обретали форму, становясь сумками и

чемоданами, брошенными в панике так бесцеремонно, что из некоторых даже вывалились потроха. Солнце заползло на небо риска за риск, и его свет становился все сильнее и резче, пока не выжег последние следы тени и не достиг губительной для сетчатки яркости, как у лампы в комнате для допросов. Пришпиленные к восточному боку барьера, люди стали съеживаться и вянуть, начиная с пожилых и детей. Водички, мама, попросил Дык, на что Линь не могла ответить ничего, кроме: прости, милый, водички у нас нет, но скоро будет.

Словно по команде, в небе показался другой “Геркулес” – он шел так круто вниз и так быстро, точно им управлял камикадзе. Визжа шинами, он приземлился на дальней полосе, и среди беженцев поднялся тихий ропот. И лишь когда С-130 повернул в нашу сторону и стал осторожно перебираться через разделяющие нас полосы, этот ропот перерос в крики ликования. Потом я услышал что-то еще. Осторожно высунув голову из-за барьера, я увидел, как они мелькают между ангарами и другими укрытиями, где явно только что прятались, – десятки, а может, и сотни морпехов, обычных солдат, полицейских, летчиков и механиков из персонала военно-воздушной базы и группы прикрытия, не желающие становиться ни героями, ни жертвенными баранами. Заметив конкурентов, наши попутчики рванули к “Геркулесу”, который развернулся метрах в пятидесяти от нас и с бесстыжей призывностью опустил пандус. Генерал с семьей бежали впереди меня, Бон с семьей – позади, и все вместе мы составляли арьергард несущейся без оглядки человеческой массы.

Когда лидер соревнования уже достиг пандуса, раздались шипенье “катюш” и секунду спустя – грохот разрыва первого снаряда на дальней полосе. Сверху зажужжали пули, и теперь мы слышали в хоре стандартных М-16 отчетливый лай АК-47. Они на периметре! – крикнул Бон. Все понимали, что этот “Геркулес” станет последним самолетом, который покинет аэропорт – конечно, если стремительно наступающие коммунисты вообще позволят ему это

сделать, – и люди снова завопили от ужаса. Когда они торопливо избегали по пандусу в грузовой отсек С-130, по ту сторону разделительного барьера с пронзительным свистом взмыл в воздух небольшой истребитель, ладный остроносый “Тайгер”, а за ним, тарахтя пропеллером, поднялся неуклюжий “Хьюи” – через его распахнутые дверцы было видно, что внутрь втиснулось не меньше дюжины солдат. Остатки наших вооруженных сил спешно эвакуировались из аэропорта, используя для этого все имеющиеся под рукой средства передвижения. Пока генерал подталкивал в спину тех, кто был впереди него, а я подталкивал генерала, слева от меня стартовал двухбалочный “Шедоу”. Я следил за ним краем глаза. Этот самолет выглядит довольно забавно – фюзеляж, подвешенный между двумя более узкими корпусами, – однако нельзя было найти ничего забавного в дымном следе самонаводящегося по тепловому излучению снаряда, который прочертил в небе сложную кривую и поцеловал “Шедоу” своим пылающим кончиком на высоте меньше чем в триста метров. Когда две половинки самолета и ошметки его экипажа упали на землю, как осколки тарелочки для тренировочной стрельбы, наши беженцы взвыли и с удвоенной силой налегли друг на друга, пробиваясь в спасительную утробу “Геркулеса”.

Когда генерал ступил на пандус, я остановился, чтобы пропустить вперед Линь и Дыка. Они не появились; тогда я обернулся и увидел, что их за мной больше нет. Давай в самолет, заорал рядом наш оператор, так широко разинув рот, что я буквально увидел его вибрирующие слюнные железы. Твоим друзьям хана! В двадцати метрах от нас стоял на коленях Бон, прижимая к груди Линь. На ее белой блузе медленно расплывалось красное сердце. По бетону между нами щелкнула пуля, подняв фонтанчик белой пыли, и во рту у меня стало сухо, как в пустыне. Я швырнул оператору рюкзак и опрометью кинулся к ним, перепрыгивая через брошенные саквояжи. Последние два метра я проскользнул ногами вперед, содрав кожу с левой руки и локтя. Бон издавал звуки, каких я еще никогда от него не слышал, – низкое гортанное мычание, полное боли. Между ним и

Линь был Дык с закатившимися глазами, и, еле оторвав мужа с женой друг от друга, я увидел на его груди кровавую кашу: что-то пробило ее насквозь и угодило в мать. Генерал и оператор кричали нам из “Геркулеса”, но за нарастающим воем двигателей слов было не разобрать. Бежим, крикнул я. Они улетают! Но горе приковало Бона к месту. Он по-прежнему крепко обнимал жену и сына, и мне пришлось ударить его кулаком по лицу ровно с такой силой, чтобы он умолк и ослабил хватку. Затем я одним рывком выдернул из его объятий Линь. Дык при этом упал на землю, уронив набок голову. Бон завопил что-то нечленораздельное, но я уже мчался к самолету, перекинув Линь через плечо. Ее тело билось о мое, но она никак на это не реагировала, и я чувствовал на плече и шее ее мокрую горячую кровь.

Генерал с оператором махали мне с пандуса, а самолет уже катил прочь, выбирая на полосе свободный участок. “Катюши” продолжали стрелять, поодиночке и залпами. Я несея изо всей мочи, мои легкие сжались в комок; догнав пандус, я бросил Линь генералу, и тот поймал ее под мышки. В эту секунду со мной поравнялся Бон. Обеими руками он протягивал Дыка оператору, который принял его со всей возможной мягкостью, хотя было ясно, что это уже неважно: голова Дыка болталась из стороны в сторону без всякого сопротивления. Когда его сын перешел с рук на руки, Бон стал замедлять шаг, повесив голову от горя и все еще рыдая. Я схватил его за локоть и из последних сил толкнул на пандус. Он полетел туда лицом вниз, оператор поймал его за шиворот и затащил внутрь. Вытянув руки, я прыгнул вдогонку за пандусом и грохнулся на него плашмя, щекой и всей своей грудной клеткой – моя щека прижалась к пыльному грязному железу, а ноги молотили воздух. Пока самолет разгонялся, генерал помог мне встать на колени и вскарабкаться в отсек. Пандус закрылся, втиснув меня в промежуток между генералом и безжизненными телами Бона и Линь; спереди на нас давила человеческая стена. Самолет круто пошел вверх, и вместе с ним до невыносимости вырос шум, слышный не только сквозь

дрожащий металл, но и через открытую дверь, где стоял член экипажа, посылая с бедра короткие винтовочные очереди. Мелькающие за этой дверью поля и здания стали клониться и кружиться, когда самолет начал набирать высоту по спирали, и я вдруг осознал, что жуткий шум исходит не только от двигателей, но и от Бона: он колотился головой о пандус и выл не так, как будто кончился мир, а так, будто кто-то выдавил ему глаза.

Глава 4

Вскоре после посадки на Гуаме приехала зеленая санитарная машина, чтобы забрать тела. Я положил Дыка на носилки. Его маленькое тельце у меня в руках с каждой минутой становилось все тяжелее, но я не мог опустить его на замызганный бетон. Санитары накрыли Дыка белой простыней, потом высвободили Линь из объятий Бона, накрыли и ее, а потом убрали мать с сыном в кузов. Я плакал, но куда мне было до Бона: у него за всю жизнь накопился огромный запас неизрасходованных слез. Плакали мы и в грузовике по дороге в лагерь Асан; все наши попутчики молчали не то из уважения, не то от смущения. Благодаря генералу нам досталась казарма – роскошь по сравнению с палатками, куда селили прочих запоздалых беженцев. Сочувственные молодые морпехи роздали нам одеяла и полотенца, сообщили, когда нас будут кормить и где находятся душ и уборные. Оцепенев на своей койке, Бон не обращал внимания на телевизор, по которому до самой ночи и весь следующий день крутили бесславную хронику эвакуации. Не доходили до его ушей и стенания тысяч людей в казармах и палатках нашего временного городка – они, точно на похоронах, оплакивали нашу независимость, скончавшуюся, подобно многим несчастным, в нежном возрасте двадцати одного года.

Вместе с генеральской семьей и сотнями других соседей по казарме я смотрел, как вертолеты садятся на сайгонские крыши и переносят спасающихся на палубы авианосцев. На следующий день танки коммунистов проломили ворота президентского дворца, и над ним был поднят флаг Национального освободительного фронта. По мере того как все рушилось, в трубах моего мозга известково-кальциевыми наслоениями откладывались картины последних дней нашей проклятой республики. Еще немного добавилось к ним в тот вечер после ужина – жареной курицы с зеленой фасолью, которую многие беженцы сочли экзотически несъедобной, да и вообще хоть

какие-то признаки аппетита проявляли в столовой разве что дети. Стояние с грязным подносом в очереди к посудомойкам воспринималось как последний удар, нечто вроде контрольного выстрела из милосердия, окончательно превращающего тебя из гражданина суверенной страны в бездомного отщепенца. Вывалив свою нетронутую фасоль в мусорное ведро, генерал поглядел на меня и сказал: капитан, я нужен своему народу. Я должен пойти к людям и укрепить их дух. Идемте. Да, сэр, ответил я, не особенно вдохновленный этой идеей, но и не догадываясь о возможных осложнениях. Обмазывать пропагандистским навозом просто, когда речь идет о солдатах, привычных к любым надругательствам, но мы забыли, что большинство беженцев не служили в армии.

Позже, задним числом, я порадовался тому, что тогда на мне уже не было формы, забрызганной кровью Линь. Я сменил ее на клетчатую рубашку и слаксы из рюкзака, но генерал, потерявший багаж в аэропорту, остался при своих звездочках на воротнике. За пределами казармы, в палаточном городке, мало кто знал его в лицо. Гражданские видели только его мундир и звание, и когда он поздоровался с ними и спросил, как дела, его встретили угрюмым молчанием. По тонкой складке, пролегшей у генерала между глаз, и его неловкому покашливанию было ясно, что он смущен. Чем дальше мы шагали по тропинке среди палаток – нас провожали недобрыми взглядами, и никто пока так и не вымолвил ни слова, – тем больше мне становилось не по себе. Не успели мы пройти и сотни метров, как подверглись первому нападению: вылетевшая откуда-то с фланга легкая тапочка шлепнулась генералу в висок. Он замер. Я тоже. Посмотрите на героя! – каркнул старушечий голос. Мы повернулись влево и увидели взбешенную пожилую женщину, единственное, от чего нет защиты: ни ударить, ни сбежать. Где мой муж? – крикнула она, босая, со второй тапочкой в руке. Почему ты здесь, если его нет? Разве тебе не положено защищать нашу страну даже ценой жизни, как сделал он?

Она хлестнула генерала тапкой по подбородку, и из-за ее спины, с другой стороны, сзади хлынули новые женщины – молодые и старые, здоровые и больные, с туфлями и шлепанцами, тростями и зонтиками, шляпками и панамами. Где мой сын? Где мой отец? Где мой брат? Генерал уворачивался и прикрывал голову руками, а эти фурии били его, терзая плоть и мундир. Досталось и на мою долю: я получил несколько оплеух летающей обувью и заблокировал несколько ударов зонтами и палками. Дамы нажимали на меня, стараясь добраться до генерала, который под их напором пал на колени. Ни у кого не повернулся бы язык корить их за эту несдержанность – ведь еще вчера наш высокочтимый премьер горячо призывал всех военных и штатских биться до последнего. Бессмысленно было бы указывать им, что сам премьер и по совместительству маршал авиации – коего, кстати, не следовало путать с президентом, ибо роднили их лишь неумеренное тщеславие да склонность к мздоимству, – покинул страну на вертолете сразу после своего пламенного выступления по радио. Столь же бессмысленно было упоминать, что этот конкретный генерал командовал не солдатами, а тайной полицией: это едва ли заставило бы их отнестись к нему с большей симпатией. В любом случае, дамы ничего не слушали, предпочитая вопить и сыпать ругательствами. Я протолкался к генералу сквозь женщин, вклинившись между нами, и прикрывал беднягу своим телом, принимая на себя град плевков и затрещин, пока не сумел вытащить его на свободу. Бежим! – крикнул я ему в ухо и подтолкнул в нужном направлении. Второй день кряду нам пришлось спасаться бегством – хорошо еще, что прочие обитатели палаточного городка не бомбардировали нас ничем, кроме свиста и презрительных выкриков. Жалкая шушера! Трусы! Мерзавцы! Ублюдки!

Я привык к подобным камням и стрелам, но генералу они были внове. Когда мы наконец остановились перед нашей казармой, на его лице лежала печать ужаса. Ему растрепали волосы, сорвали с воротника звездочки, разодрали рукава, у него не хватало половины

пуговиц, а из царапин на шее и щеках сочилась кровь. Я не могу идти туда в таком виде, прошептал он. Подождите в душе, сэр, сказал я. Сейчас найду, во что вам переодеться. Я реквизирувал у офицеров в казарме запасную рубашку и брюки, объяснив свои собственные синяки и помятость стычкой с агрессивно настроенными конкурентами из службы контрразведки. Когда я пришел в душ, генерал выглядел гораздо чище – ему удалось смыть с лица все, кроме стыда.

Генерал...

Молчите! Он смотрел в зеркало над раковиной – не на меня, а только на себя. Мы никогда не будем об этом говорить.

И больше мы об этом не говорили.

* * *

Назавтра мы похоронили Линь и Дыка. Всю ночь их холодные тела пролежали в армейском морге, официальная причина смерти – одиночная пуля неустановленного образца. Теперь этой пуле было суждено вечно блестеть и вращаться в сознании Бона, дразня и свербя его равенством шансов своего происхождения от друга или врага. Он повязал себе голову белым траурным лоскутом, оторвав его от простыни. Когда мы опустили маленький гробик Дыка на гроб его матери – больше никто никогда не сможет их разлучить, – Бон бросился за ними в разверстую могилу. Почему? – взвыл он, прижавшись щекой к деревянной крышке. Почему их? Почему не меня? Почему, Господи? Тоже плача, я полез его успокаивать. Когда я помог ему выбраться, мы засыпали могилу землей, а генерал с генеральшей и измученным священником молча наблюдали за нами. Они были невинны, эти двое, особенно мой крестный сын – пусть символический, но, за неимением реального сына, продолжатель и моего рода. Раз за разом всаживая лопату в небольшой холмик комкастой земли, ждущей своего возвращения в яму, откуда ее

вынули, я пытался убедить себя, что два этих тела – не подлинные мертвецы, а всего лишь тряпки, сброшенные эмигрантами, которые уехали в страну за пределами человеческой картографии, туда, где обитают ангелы. В такие путешествия верил мой богомольный отец, но мне это было не по силам.

Следующие несколько дней мы плакали и ждали. Иногда, чтобы не соскучиться, ждали и плакали. Когда самобичевание стало всерьез меня изнурять, нас забрали из Асана и переправили на базу Кэмп-Пендлтон в калифорнийском Сан-Диего, на сей раз рейсовым авиалайнером, где я сидел в настоящем кресле у настоящего иллюминатора. Там нас ждал очередной лагерь, лучше оборудованный в бытовом плане, что свидетельствовало о нашем продвижении вверх по лестнице американской мечты. На Гуаме большинство беженцев ютились в палатках, наспех установленных морпехами, а в Кэмп-Пендлтоне всех расселили по казармам и принялись потихоньку готовить к суровым реалиям чуждой нам заокеанской жизни. Именно оттуда летом 1975 года я послал свое первое письмо тетке Мана в Париж. Конечно, сочиняя эти письма, я обращался к Ману. Если я начинал с некоторых заранее оговоренных клише – погоды, моего здоровья, здоровья тетушки, французской политики, – он понимал, что между строк написано другое послание, невидимыми чернилами. Если эти условные знаки отсутствовали, то ничего скрытого от глаз в письме искать не следовало. Но в течение всего первого года нашей эмиграции в тайнописи не было особенной необходимости. Армейцы-изгнанники еще не пришли в себя настолько, чтобы размышлять о контрударе, так что поставляемая мной информация, хоть и полезная, в засекречивании не нуждалась.

Милая тетушка, писал я, прикидываясь ее племянником вместо Мана, *мне очень жаль, что после такого долгого перерыва я вынужден сообщать тебе столь ужасные вести.* Бон был в плохом состоянии. По ночам, когда я лежал без сна на своем нижнем ярусе, он метался и ворочался надо мной, заживо поджариваясь на гриле

памяти. Я знал, что мерцает на внутренней поверхности его черепа – лицо Мана, нашего кровного брата, которого мы, по его убеждению, бессовестно бросили, и лица Дыка и Линь, чьей кровью в буквальном смысле были обагрены наши с ним руки. Если бы я не стаскивал Бона с верхней койки и не впихивал в него безвкусную еду, которой нас кормили за длинными общими столами, он уморил бы себя голодом. Мылись мы тем летом в переполненных народом душевых без кабинок и жили в казарме бок о бок с чужими людьми. Генерал тоже не избежал этих тягот, и я подолгу просиживал с ним в помещении, где кроме него с генеральшей и их четверых детей жили еще три семьи. Младшие офицеришки со своим пометом, проворчал он мне как-то, когда я в очередной раз пришел его навестить. Вот до чего меня низвели! Чтобы отделить семьи друг от друга, в казарме натянули бельевые веревки и развесили простыни, но благородный слух генеральши с детьми это, конечно, защищало плохо. Эти животные спариваются в любое время дня и ночи, возмущался он, сидя со мной на бетонном крылечке. В руках у каждого из нас было по кружке чая, тогдашней замены даже самого дешевого алкоголя, и по сигарете. Никакого стыда! Не стесняются ни моих детей, ни своих. Знаете, что спросила меня недавно моя старшая? Папа, что такое проститутка? Какая-то женщина продавала себя около уборной, и она это видела!

Через дорогу от нас, в соседней казарме, ссора между мужем и женой, начавшаяся с заурядного обмена оскорблениями, вдруг вылилась в полномасштабную драку. Мы не могли ее наблюдать, но услышали безошибочный звон затрешины, а затем женский визг. Вскоре перед входом в казарму собралась небольшая толпа. Генерал вздохнул. Животные! Но, помимо всего этого, есть и хорошая новость. Он извлек из кармана газетную вырезку и протянул мне. Помните его? Застрелился. Это хорошая новость? – спросил я, разглаживая вырезку. Он был героем, сказал генерал; во всяком случае, так я написал своей тетке. Статья оказалась старая, напечатанная через несколько дней после падения Сайгона и

присланная генералу его товарищем из другого отстойника для беженцев в Арканзасе. Середину страницы занимала фотография мертвеца, лежащего навзничь у памятника, которому генерал отдавал честь. Если бы не заголовок, можно было бы подумать, что этот человек устал от жары и отдыхает, любясь чистейшей небесной лазурью. Но нет – когда мы летели на Гуам, наш подполковник отправился к мемориалу, вынул табельное оружие и пробил дыру в своей лысеющей голове.

Действительно герой, сказал я. У него была жена и куча детей – сколько именно, я запомнил. Мне он ни нравился, ни не нравился, и хотя я держал его имя на примете, когда составлял список эвакуируемых, в итоге оно туда не попало. Перышко вины пощекотало мне шею. Не знал, что он на это способен, сказал я. Если бы знать...

Если бы хоть один из нас мог знать... Но откуда? Не корите себя. Сколько людей погибло под моим командованием! Я сожалел обо всех, но смерть – часть нашего дела. Когда-нибудь вполне может наступить и наша очередь. Давайте просто запомним его мучеником – он это заслужил.

Мы помянули подполковника чаем. Насколько я знал, если не считать этого его последнего деяния, никаким героем он не был. Видимо, то же самое подумал и генерал, так как следующим, что он сказал, было: живой он бы нам пригодился.

Для чего?

Следить, что замышляют коммунисты. Точно так же как они наверняка следят, что замышляем мы. Вы никогда об этом не думали?

О том, как они за нами следят?

Именно. Сочувствующие. Шпионы в наших рядах. Невидимки.

Возможно, сказал я. Ладони у меня взмокли. Они для этого достаточно умны и коварны.

Так кто вероятный кандидат? Генерал пристально посмотрел на меня – а может быть, в его взгляде было подозрение? Он все еще

держал в руке кружку, и я, отвечая на его взгляд своим, следил за ней краем глаза. Если он попытается хватить меня ею по виску, у меня будет полсекунды на то, чтобы среагировать. У Вьетконга везде агенты, продолжал он. Простая логика подсказывает, что хотя бы один есть и среди нас.

Вы и вправду считаете, что один из наших людей – шпион? Теперь у меня вспотело все, кроме глазных яблок. А может, в военной разведке? Или в генштабе?

Что, никто не приходит в голову? Его глаза были прикованы к моим, не вспотевшим, а рука по-прежнему сжимала кружку. В моей еще оставался глоток холодного чая, и я решил, что сейчас самое время его допить. Рентген моего мозга показал бы хомячка в беличьем колесе, мчащегося с огромной скоростью, чтобы высечь искорку спасительной идеи. Если я скажу, что никого не подозреваю, тогда как он явно убежден в своей правоте, это будет выглядеть для меня плохо. В воображении параноика существование шпионов отрицают только шпионы. Значит, мне надо назвать подозреваемого – кого-нибудь, кто сосредоточит на себе его внимание, не будучи при этом настоящим шпионом. Первым мне пришел на ум упитанный майор, чье имя возымело желаемое действие.

Он? Генерал нахмурился и наконец-то перестал на меня смотреть. Вместо этого он уставился на костяшки своих пальцев, обдумывая мою неожиданную гипотезу. Да он такой жирный, что без зеркала своего пупка не увидит! По-моему, капитан, тут ваша интуиция вам изменила.

Может быть, сказал я, прикинувшись смущенным. Потом в качестве отвлекающего маневра отдал ему свою пачку сигарет и вернулся в казарму, чтобы передать тетушке суть нашего разговора, очищенную от несущественных деталей вроде моего страха, дрожи, потения и т. д. К счастью, оставаться в этом лагере, где мало что могло утолить гнев генерала, нам предстояло уже недолго. Вскоре после прибытия в Сан-Диего я написал Эйвери Райту Хаммеру, соседу Клода по университетскому общежитию и моему наставнику.

Когда-то Клод спросил его, не найдется ли стипендии для многообещающего юного вьетнамца, и он мне ее нашел. После Клода и Мана он был самым важным из моих учителей – профессором, который курировал мое американское образование и рискнул выйти за рамки своей специальности, чтобы стать руководителем моей дипломной работы “Миф и символ в литературном творчестве Грэма Грина”. Теперь этот славный человек снова согласился за меня порадеть, добровольно вызвался стать моим спонсором и к середине лета выбил для меня должность методиста на кафедре востоковедения. Он даже организовал среди моих бывших преподавателей сбор пожертвований в мою пользу – великодушный поступок, глубоко меня тронувший. Эти деньги, сообщил я тете, ушли на автобусный билет до Лос-Анджелеса, оплату нескольких суток в мотеле, первый взнос за квартирку близ Чайнатауна и старенький “форд” модели 1964 года. Устроившись, я отправился прочесывать окрестные церкви в поисках поддержки для Бона, ибо местные религиозные и благотворительные организации уже проявляли сочувствие к несчастным беженцам. Я набрел на Вековечную Церковь Пророков, каковая, несмотря на столь внушительное название, хранила свои духовные сокровища за скромным фасадом с захудалой автомастерской по одну сторону и асфальтовым пяточком, активно посещаемым местными потребителями героина, по другую. Минимальные уговоры и скромный денежный взнос склонили преподобного Рамона (или, как он представился, Р-р-р-рамона), имевшего шарообразную форму, к тому, чтобы стать спонсором Бона и его номинальным работодателем. В сентябре, как раз к началу учебного года, мы с Боном воссоединились в снятой мною квартирке в атмосфере благородной нищеты. Затем я пошел в ближайший ломбард и приобрел на остаток спонсорских денег последние из жизненно необходимых вещей – радиоприемник и телевизор.

Что же до генерала с генеральшей, то они также в конце концов очутились в Лос-Анджелесе благодаря финансовой помощи

свояченицы некоего американского полковника, бывшего генеральского консультанта. Вместо виллы они сняли бунгало в не самой фешенебельной части Лос-Анджелеса, где-то в районе его дряблой диафрагмы, по соседству с Голливудом. Заглядывая к своему патрону в течение нескольких следующих месяцев, я неизменно заставал его в состоянии глубочайшей хандры, о чем и докладывал тете. Генерал больше не был генералом, хотя его прежние офицеры до сих пор величали его так. В часы наших встреч, небритый, невымытый и в несвежей пижаме, он потреблял причудливое ассорти из дешевого вина и пива, попеременно впадая то в ярость, то в меланхолию – наверное, примерно то же самое происходило неподалеку с Ричардом Никсоном. Иногда негодование душило его с такой силой, что я уже готовился пустить в ход прием Геймлиха. Конечно, он мог бы тратить свое время на что-нибудь гораздо более конструктивное, но не он, а генеральша подыскивала детям школы, заботилась о внесении арендной платы, ходила по супермаркетам, занималась стряпней, мыла посуду, чистила туалеты, выбирала подходящую церковь – короче говоря, справлялась со всеми теми изматывающими рутинными хлопотами, которые в пору ее прежнего окукленного существования неизменно брали на себя другие. Она трудилась с мрачной элегантностью и вскоре заняла положение истинной главы семьи, оставив на долю генерала исключительно декоративные функции; он лишь от случая к случаю рычал на детей, как один из тех пыльных львов в зоопарке, что переживают кризис среднего возраста. Они прожили таким образом почти целый год, и только тогда кредитный лимит ее терпения оказался исчерпан. Я не был допущен к разговорам, которые они, по всей вероятности, вели между собой, но как-то в начале апреля получил приглашение на торжественное открытие его нового предприятия на Голливудском бульваре – магазина спиртных напитков, чье рождение под циклопым оком Федеральной налоговой службы означало, что генерал наконец покорился базовым принципам Американской мечты. Теперь он должен был не

только зарабатывать себе на жизнь, но и платить за это, как уже делал я в качестве довольно кислого лица кафедры востоковедения.

Мои обязанности заключались в том, чтобы держать оборону против студентов, стремящихся добиться аудиенции секретаря или заведующего кафедрой, причем некоторые из них называли меня по имени, хотя я их впервые видел. Я пользовался в кампусе умеренной известностью благодаря статье, вышедшей в студенческой газете, – как выпускник колледжа, включенный в почетный список отличников, и единственный студент-вьетнамец за всю историю моей альма-матер, а ныне еще и спасенный беженец. В статье упоминалось и о моем участии в военных действиях, хотя здесь автор был не вполне точен. Что вы там делали? – спросила меня эта надежда журналистики, пугливый второкурсник с брекетами на зубах и с изгрызенным желтым карандашом. Служил квартирмейстером, ответил я. Скучная работа. Следишь за рационом и поставками провианта, обеспечиваешь солдат формой и сапогами. То есть вы никогда никого не убивали? Никогда. И это действительно была правда, чего нельзя сказать об остальной части моего интервью. Если где-нибудь и стоило оглашать мой послужной список, то уж никак не в студенческом городке. Сначала я был пехотным офицером в Армии Республики Вьетнам, где и попал под командование генерала, в то время полковника. Затем, когда он стал генералом и возглавил Национальную полицию, в которой не хватало военной дисциплины, я тоже перебрался туда вместе с ним. Сказать, что ты участвовал в боях или, тем паче, якшался с какими-то секретными подразделениями, значило затронуть щепетильную тему. Антивоенная лихорадка, еще в мою бытность студентом распространившаяся в университетской среде подобно модному религиозному течению, не обошла тогда стороной и наш кампус. Во многих студгородках, включая мой, “хо-хо-хо” было не фирменными позывными Санта-Клауса, а началом популярной кричалки: Хо-Хо-Хо Ши Мин, НФО^[3] непобедим! Вынужденный скрывать свои политические пристрастия под маской честного патриота Республики

Вьетнам, я завидовал однокашникам, пылко выражающим свои. Но за время моего отсутствия в колледж пришло новое поколение студентов – эти гораздо меньше интересовались политикой и тем, что творится за океаном. Их нежные души уже не так страдали от непрерывного потока устных и видеосообщений о зверствах и ужасах, за которые они могли чувствовать себя ответственными как граждане демократической страны, уничтожающей другую страну ради ее спасения. Самое главное, что армейский призыв уже не ставил под угрозу их собственную жизнь. В итоге кампус вернулся к мирному и спокойному существованию, и разлитый вокруг оптимизм нарушался разве что весенним дождиком, время от времени сыплющим в окно моей комнаты. За свою мизерную зарплату я должен был выполнять множество разнообразных задач, а именно: отвечать на телефон, перепечатывать профессорские рукописи, подшивать документы и добывать книги, а также помогать миз Софии Мори, секретарше в инкрустированных стразами роговых очках. Эти занятия, абсолютно приемлемые для студента, для меня были эквивалентны казни через тысячу бумажных порезов. В довершение ко всему миз Мори, похоже, меня невзлюбила.

Приятно узнать, что вы никого не убивали, сказала она вскоре после нашего знакомства. О ее позиции красноречиво говорил брелок в виде символа мира. Мне снова, далеко не в первый раз, захотелось признаться, что я один из них, сторонник левых взглядов, революционер, борец за мир, равенство, демократию, свободу и независимость – за все те благородные идеалы, ради которых умирали мои соотечественники и таился я сам. Но если бы вы кого-нибудь убили, продолжала она, вы ведь никому бы об этом не сказали?

А вы, миз Мори?

Не знаю. Грациозным движением бедер она развернула стул, показав мне спину. Мой маленький столик был задвинут в самый угол; я сидел за ним и ворошил письма и бумаги, изображая занятость, поскольку настоящих дел на все восемь рабочих часов

мне не хватало. Моя фотография, помещенная на главную страницу студгазеты, была сделана там же – как от меня и ждали, я послушно улыбался, понимая, что мои желтые зубы на черно-белом снимке превратятся в белые. Я как умел подражал детям из третьего мира с молочных пакетов, куда американских школьников просят положить монетку-другую, чтобы бедный Алехандро, Абдулла или А-Синг мог купить себе горячий завтрак и сделать прививку. И я был признателен, честно! Но что делать, если вдобавок я принадлежал к числу зануд, волей-неволей спрашивающих себя, не объясняется ли моя нужда в американском милосердии тем, что сначала я принял американскую помощь. Боясь показаться неблагодарным, я старался производить ровно столько негромкого шума, чтобы умиротворять, но не отвлекать миз Мори, секретаршу в синтетических брючках цвета авокадо, и периодически прерывал свою псевдодеятельность, когда требовалось куда-нибудь сбегать или явиться в соседний кабинет к заведующему кафедрой.

Поскольку никто из сотрудников кафедры не знал о нашей стране ровно ничего, зав развлекался тем, что вел со мной долгие беседы о нашем языке и культуре. Забуксовавший где-то между семью и восемью десятками, зав обитал в уютном кабинете среди книг, документов, записей и цацек, плодов многолетнего, длинной в целую жизнь, изучения Востока. На стену себе он повесил затейливый восточный ковер – по-видимому, взамен настоящего уроженца Востока. Каждому посетителю сразу бросалась в глаза стоящая на столе в позолоченной рамке фотография его семьи – русоволосого херувимчика и азиатки-жены в возрасте примерно от одной до двух третей его собственного. В алом ципао с тесным воротником, выдавившим на ее перламутровые губы пузырек улыбки, она поневоле выглядела красавицей по контрасту с ветхим стариканом в галстук-бабочке.

Ее зовут Линлин, сказал он, заметив, что я смотрю на фото. Десятилетия ученых трудов согнули спину великого востоковеда наподобие подковы, а голова его при этом пытливо выдвинулась

вперед на манер драконьей. Я познакомился со своей женой на Тайване, куда ее семья бежала от Мао. Теперь наш сын уже значительно крупнее, чем на этом снимке. Как видите, материнские гены оказались более стойкими, чего и следовало ожидать. Светлые волосы темнеют под влиянием черных. Все это я услышал на нашей пятой или шестой встрече, когда между нами уже была достигнута известной степени близость. Как всегда, он покоился в мягком кожаном кресле, уютном, точно приемистые колени мамы-афроамериканки. Я аналогичным образом утопал в глубоком лоне кресла-близнеца, положив руки на подлокотники, как Линкольн на своем мемориальном троне. Схожую метафору предлагает наш калифорнийский ландшафт, продолжал он: чужеземные сорняки уже задушили большую часть отечественной зелени. Скрещивание местной флоры с иностранной часто влечет за собой трагические последствия, как вы наверняка убедились на собственном опыте.

Согласен, сказал я, напомнив себе, что нуждаюсь в своей мизерной зарплате.

Ах, эта судьба американо-азиата – навеки зависнуть между разными мирами, не зная, к какому из них ты принадлежишь! Вообразите, что было бы, если бы вы не чувствовали в себе и над собой этого постоянного соперничества, этого перетягивания каната между Востоком и Западом! Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись, как гениально подмечено Киплингом. Это был конек зава, и в конце одной из наших бесед он даже придумал для меня домашнее задание – проверить тезис Киплинга. Я должен был взять лист бумаги и разделить его пополам по вертикали. Вверху слева написать “Восток”, а вверху справа – “Запад”. Далее мне предлагалось перечислить мои восточные и западные черты. Это что-то вроде инвентаризации вашей личности, сказал зав. Мои студенты родом с Востока неизменно находят сей опыт весьма полезным.

Сначала я принял это за шутку, поскольку наш разговор случился первого апреля, то есть в день, когда по странному западному

обычаю все стараются разыграть друг дружку. Но он смотрел на меня вполне серьезно, и я вспомнил, что у него нет чувства юмора. Поэтому, придя домой, я взялся за карандаш и спустя некоторое время произвел следующее:

ВОСТОК

- скромн
- уважаю власть
- равнодушен к чужому мнению
- как правило, молчалив
- всегда стараюсь угодить
- чашка наполовину пуста
- говорю да, а думаю нет
- почти всегда смотрю в прошлое
- предпочитаю слушаться
- комфортно в толпе
- почителен к старшим

ВОСТОК

- склонен к самопожертвованию
- беру пример с предков
- прямые черные волосы
- низковат (по западным меркам)
- этакий желтовато-белый

ЗАПАД

- порой своеволен
- эпизодически независим
- время от времени беззаботен
- болтлив (после рюмки-другой)
- раз или два в гробу всех видел
- стакан наполовину полон
- говорю что думаю, делаю что говорю
- иногда смотрю в будущее
- но мечтаю руководить
- но готов выйти на сцену
- ценю свою молодость

ЗАПАД

- рад прожить еще день ради борьбы
- чихал на предков!
- ясные карие глаза
- высоковат (по восточным)
- этакий беловато-желтый

Когда я поделился с ним этими результатами, он сказал: замечательно! Прекрасное начало. Вы хороший ученик, как и все приезжие с Востока. Я невольно ощутил легкий прилив гордости.

Подобно всем хорошим ученикам, я горячо жаждал одобрения, даже если оно исходило от дураков. Но есть и недостаток, продолжал он. Видите, сколько ваших восточных качеств диаметрально противоположны западным? К сожалению, многие восточные черты приобретают на Западе негативную окраску. У американцев восточного происхождения – по крайней мере у тех, кто родился или вырос здесь, – это приводит к серьезным личным проблемам. Они здесь словно не на своем месте. Они очень похожи на вас – тоже расколоты посередке. Так как же от этого исцелиться? Неужто восточный человек на Западе обречен всегда чувствовать себя бездомным, чужаком, изгоем, сколько бы поколений ни провел его род на почве иудеохристианской культуры, неужто ему никогда не избавиться от конфуцианского осадка его благородного древнего наследия? И тут вы как американо-азиат подаете определенную надежду.

Я понимал, что он хочет проявить благожелательность, и изо всех сил старался сохранить серьезную мину. Кто – я?

Да, вы! Вы воплощаете собой симбиоз Востока и Запада, возможность для двоих слиться в одно. Мы не в силах физически отделить в вас уроженца Востока от уроженца Запада. То же самое относится и к вашей психике. Но хотя сейчас вы здесь как бы посторонний, в будущем ваш случай станет нормой! Посмотрите на моего американо-азиатского сына. Сотню лет назад он выглядел бы уродом, что в Китае, что в Америке. Сегодня китайцы еще восприняли бы его как аномалию, но мы здесь наблюдаем явный прогресс – не столь быстрый, как хотелось бы нам с вами, но все же у нас достаточно оснований надеяться, что по достижении вашего возраста перед ним будут открыты все пути. Как родившийся здесь, он даже может стать президентом! И таких, как вы с ним, гораздо больше, чем вы думаете, просто многие из них еще испытывают стыд и стремятся затеряться в дебрях американской жизни. Но ваши ряды растут, и демократия дает вам великолепный шанс обрести свой голос. Здесь вы можете овладеть искусством не разрываться

между своими внутренними противоположностями, а уравнивать их и извлекать выгоду из обеих половинок своей природы. Преодолейте вашу исконную двойственность, и вы станете идеальным переводчиком между двумя мирами, посланником доброй воли, который принесет мир конфликтующим государствам!

Кто – я?

Да, вы! Вы должны старательно культивировать в себе те рефлексии, которые американцам достаются от природы, в противовес вашим восточным инстинктам.

Я больше не мог сдерживаться. Как инь и ян?

Вот именно!

Я прокашлялся, чтобы избавиться от кислого привкуса в горле – гастрального выброса из моего смятенного западно-восточного нутра. Профессор...

Да?

А это ничего, что на самом деле я не американо-азиат, а евроазиат?

Зав смерил меня благосклонным взглядом и принялся набивать трубку.

Нет-нет, мой мальчик, это абсолютно неважно.

* * *

По дороге домой я купил белого хлеба, копченой колбасы, литровую пластиковую бутылку водки, кукурузный крахмал и флакончик йода. Из сентиментальных соображений я предпочел бы рисовый крахмал, но кукурузный было легче найти. Дома я убрал покупки и прилепил к холодильнику опись своей раздвоенной личности. В Америке холодильники есть даже у бедных, не говоря уж об унитазах, водопроводе и круглосуточном электроснабжении – удобствах, которыми на моей родине пользовались далеко не все представители среднего класса. Почему же тогда я чувствовал себя

бедным? Возможно, причина крылась в моих жизненных обстоятельствах. Мне стала домом унылая, об одной спальне квартирка на первом этаже, насквозь пропахшая грязными носками, о чем я и сообщил тете. В тот день, так же как и во все предшествующие, я обнаружил Бона в глубокой апатии на длинном языке нашей красной велюровой софы. Он покидал это ложе только на время своего ночного дежурства в церкви преподобного Р-р-р-рамона, поставившего себе цель спасти души, экономя деньги. Ради этой цели, в доказательство того, что можно поклоняться единовременно Богу и маммоне, моему другу платили наличными, никак это не оформляя. При отсутствии декларируемых доходов Бон не мог рассчитывать на социальную страховку в случае инвалидности или потери работы. Однако его это устраивало: как и другие беженцы без профессиональных навыков, имеющих рыночную ценность, он получал свое пособие с чистой совестью, уверенный, что оно причитается ему по праву. Послужив своей родине за гроши, приняв участие во вдохновленной американцами войне, он разумно полагал, что велфэр в качестве награды лучше ордена. К тому же ему некуда было деваться: никто не искал сотрудника, который умеет прыгать с парашютом, совершать тридцатимильные броски с сорокакилограммовым снаряжением, попадать в яблочко хоть из револьвера, хоть из винтовки и терпеть больше физических мучений, чем лоснящиеся специалисты по боям без правил.

Получив от государства очередную подачку, Бон тратил наличные на ящик пива, а продуктовые талоны – на недельный запас мороженых полуфабрикатов. Так произошло и сегодня. Открыв холодильник, я взял свою пивную пайку и присоединился к Бону в гостиной, где он уже расстрелял себя полудюжиной банок. Пустые гильзы валялись на ковре, а сам он лежал на софе навзничь, прижав ко лбу следующий холодный снаряд. Я плюхнулся в широкое кресло – залатанное, но вполне годное к употреблению, – и включил телевизор. Пиво имело цвет и вкус детской мочи, но, следуя своему

обычному распорядку, мы прилежно и буднично допились до беспамятства. Я очнулся во временной промежуток между очень поздним вечером и очень ранним утром с мерзкой губкой во рту и в ужасе пялился на отрубленную голову гигантского насекомого, раззявившего на меня челюсти, пока не опознал в ней деревянную коробку телевизора с поникшими усами антенны. Орал национальный гимн, развевались звездно-полосатые стяги, потом на экране выросли величественные багряные горы, на фоне которых парили реактивные истребители. Когда все это наконец скрыла пелена статической ряби и снега, я дотащился до замшелой беззубой пасти унитаза, а оттуда до нижней койки двухъярусной кровати в тесной спальне. Бон уже отыскал дорогу на верхнюю. Я улегся и попытался вообразить, что мы отдыхаем как солдаты, хотя единственное место близ Чайнатауна, где можно купить двухъярусную кровать, – это детская секция дешевого мебельного магазина с продавцами-мексиканцами или людьми, похожими на мексиканцев. Я не мог отличить одного уроженца Южного полушария от другого, но не видел в этом ничего обидного для них, тем более что они сами называли меня китаезой в лицо. Подобно нам, их цветным собратям в этом блеклом городе, они торговались с упорством вежливых насильников, не принимающих отказа, всегда готовые скостить налог с продаж тому, кто заплатит им мятыми банкнотами. Это тоже было частью американского образа жизни, которую все иммигранты понимали нутром.

Промаявшись час, я так и не смог вернуться ко сну. Тогда я пошел на кухню и съел бутерброд с колбасой, параллельно перечитывая вчерашнее письмо от тетушки. *Дорогой племянник*, писала она, *спасибо за твое последнее письмо. Погода у нас стоит ужасная, очень сыро и ветрено.* Далее приводились подробности ее борьбы с розами и заказчиками в ателье, а также положительный итог визита к врачу, но для меня не было ничего важнее сигнала о погоде: он означал, что между строк находится секретное сообщение Мана, вписанное туда невидимыми чернилами из рисового крахмала. На

следующий день, когда Бон уйдет на несколько часов убирать церковь, мне предстояло сделать водный раствор йода и нанести его кисточкой на бумагу, чтобы проявить ряд цифр фиолетового цвета. По художественному замыслу Мана, они указывали на страницу, строку и слово в “Азиатском коммунизме и тяге разрушения повосточному” Ричарда Хедда – ныне самой главной книге в моей жизни. Благодаря невидимым посланиям Мана я уже знал, что моральный дух народа высок, восстановление страны ведется медленно, но верно, а руководящие органы довольны моими отчетами. А с чего бы им быть недовольными? Изгнанники только и делали что рвали на себе волосы да скрежетали зубами. Едва ли мне стоило сообщать это с помощью невидимых чернил, которые я планировал приготовить из кукурузного крахмала и воды.

В этом месяце истекал первый год после падения Сайгона – падения, или освобождения, или того и другого вместе. Под влиянием сентиментальности и похмелья в равных дозах я решил отметить годовщину наших мытарств очередным письмом тете. Покинув родину не только по воле обстоятельств, но и по собственному выбору, я все же волей-неволей сочувствовал своим землякам; я наглотался микробов их скорби, которые носились в воздухе, и теперь тоже бродил, спотыкаясь, в туманной долине памяти. *Моя дорогая тетушка, столько всего случилось!* Перескакивая с пятого на десятое, я рассказывал о судьбах изгнанников после лагеря с точки их замутненного слезами зрения, из-за чего слезы наворачивались на глаза и мне. Я писал о том, что никого из нас не отпускали, пока мы не найдем себе спонсора, гарантирующего, что мы не присоединимся к щедрой государственной титьке, брызжущей велфэром. Те из нас, кому не удавалось сразу найти покровителей, писали умоляющие письма фирмам, которые когда-то нас нанимали, военным, которые когда-то давали нам советы, любовницам, которые когда-то с нами спали, церквям, которые предположительно могли проявить к нам добросердечие, и даже случайным знакомым – а вдруг сдуру помогут? Кто-то из нас

уехал в одиночку, кто-то с семьей, многие наши семьи были расколоты и раскромсаны, кто-то из нас угодили в теплые края на Западном побережье, напоминающие о доме, но большинство рассеялось по далеким штатам, чьи названия мы не могли толком выговорить: Алабаме, Арканзасу, Джорджии, Кентукки, Миссури, Монтане, Южной Каролине и прочим. Мы обсуждали эту новую географию на своей собственной версии английского, делая ударение на каждой гласной: Чикаго у нас стал Чик-а-го, Нью-Йорк скорее походил на Ньюарк, Техас развалился на Тех-асс, Калифорния превратилась в Ка-ли. Покидая лагерь, мы обменивались телефонными номерами и адресами пунктов назначения, зная, что наша внутренняя осведомительная сеть поможет нам выяснить, в каком городе можно найти работу получше, в каком штате налоги пониже, где дают велфэр пожирнее, где поменьше расизма, где живет побольше тех, кто выглядит как мы и ест как мы.

Если бы нам позволили остаться вместе, сказал я тетке, мы образовали бы самодостаточную, внушительных размеров колонию, прыщ на заднице политического тела Америки, со своими готовыми политиками, полицейскими и военными, со своими собственными банкирами, торговцами и инженерами, со своими врачами, юристами и бухгалтерами, с поварами, горничными и дворниками, с владельцами фабрик, механиками и конторщиками, с ворами, проститутками и убийцами, с писателями, актерами и певцами, с гениями, учителями и сумасшедшими, со священниками, монахами и монашками, с католиками, буддистами и каодаистами, с уроженцами Юга, Центра и Севера, с умниками, посредственностями и дураками, с патриотами, ренегатами и неприсоединившимися, с честными, продажными и равнодушными – нас хватило бы на то, чтобы избрать в Конгресс своего представителя и получить в Америке свой голос, мы создали бы настоящий Маленький Сайгон, такой же чудесный, сумасбродный и неэффективный, как его прототип, и именно поэтому-то нам и не позволили остаться вместе, а разогнали

одним бюрократическим повелением по всем городам и весям нашего нового мира. Но где бы мы ни оказывались, мы находили друг друга, сбивались на выходных кучками в подвалах, в церквях и на задних дворах, на пляжах, куда приносили в объемистых сумках свою еду и питье, чтобы не тратиться на более дорогую продукцию в сетевых супермаркетах. Мы как могли старались придерживаться своих кулинарных традиций, но по причине зависимости от китайских рынков наша еда имела отталкивающий китайский налет – еще один плевок нам в душу, оставляющий нас с кисло-сладким привкусом ненадежных воспоминаний, правильным ровно настолько, чтобы возродить прошлое, и неправильным ровно настолько, чтобы напомнить нам о безвозвратной утрате этого прошлого, вместе с которым мы лишились единственной идеальной разновидности нашего универсального растворителя с его неповторимой палитрой ароматов – рыбного соуса. Ах, этот рыбный соус! Как же мы скучали по нему, милая тетушка, каким все стало без него безвкусным, как тосковали мы по огромной соусодельне на острове Фукуок, по ее бочкам, доверху набитым отборным урожаем спрессованных анчоусов! Иностранцы ругают эту пряную жидкую приправу наигустейшего коричневого цвета за ее якобы отвратительный смрад, из-за которого, по их мнению, мы все пованиваем рыбой. Но мы пользуемся своим рыбным соусом на манер трансильванских крестьян, отпугивавших чесноком вампиров, – в нашем случае, чтобы оградить себя от глупых обитателей Запада, не способных понять, что самое мерзкое на свете – это тошнотворный запах сыра. Разве перебродившую рыбу можно сравнить со свернувшимся молоком?

Но из уважения к нашим хозяевам мы держали свои чувства при себе, сидели бок о бок на колючих диванах и шершавых коврах, теснились за кухонными столами перед ребристыми пепельницами, где, отмечая бег времени, росли горки пепла, жевали сушеных кальмаров и горькую жвачку воспоминаний, пока у нас не начинали ныть челюсти, обменивались слышанными из вторых и третьих уст

историями о наших рассеявшихся по стране земляках. Так узнавали мы о клане, который превратил в рабов фермер из Модесто, о наивной девушке, которую продали в бордель в Спокейне, куда она полетела в надежде выйти замуж за своего ухажера из американской армии, о вдовце с девятью детьми, который не пережил суровой миннесотской зимы – когда его нашли, он лежал в снегу навзничь, с открытым ртом, и уже окоченел, – о бывшем десантнике в Кливленде, который купил ружье и отправил на тот свет сначала жену с двумя детьми, а потом и себя, и об измученных беженцах на Гуаме, которые попросились обратно во Вьетнам да так там и сгнули, и об избалованной девице, которая подседа на героин и затерялась на балтиморских улицах, и о жене одного политического деятеля, которая мыла утки в доме для престарелых, но потом сломалась, напала на мужа с кухонным тесаком и угодила в психушку, и о четверых подростках, которые приехали сюда без семей, ограбили в Куинсе два винных магазина, убили грузчика и загремели в тюрьму со сроками от двадцати лет до пожизненного, об убежденном буддисте в Хьюстоне, который шлепнул своего малолетнего сына и попал под суд за жестокое обращение с ребенком, и о продавце в Сан-Хосе, который выдавал по продуктовым талонам палочки для еды и был оштрафован за нарушение закона, и о муже в Роли, который всыпал по заслугам своей потаскухе-жене и был арестован за домашнее насилие, и о мужчинах, которые спаслись, но потеряли жен, и о женщинах, которые спаслись, но лишились мужей, и о детях, которые спаслись, но остались не только без родителей, но и без бабушек и дедушек, и о семьях, в которых стало меньше на одного, двух, трех и больше детей, и о шестерых бедолагах, которые заснули в тесной, промерзшей насквозь комнатухе в Терре-Хоте, распалив для обогрева жаровню с углем, и перекочевали в небытие на невидимом облаке угарного газа. Мы просеивали эту мутную жижу в поисках золота – истории о младенце-сироте, усыновленном канзасским миллиардером, или об инженере, купившем в Арлингтоне

лотерейный билет и выигравшем два миллиона, или о школьнице из Батон-Ружа, которую избрали старостой класса, или о парне из Фондю-Лака, которого приняли в Гарвард, когда подошвы его кроссовок еще были испачканы засохшей гуамской грязью, или о той самой кинозвезде, твоей любимице, милая тетушка, которая после падения скиталась по всему миру, из аэропорта в аэропорт, и нигде ее не принимали, и никто из ее подружек, американских звезд, не отвечал на ее отчаянные телефонные звонки, пока наконец она не зацепила на последнюю монетку Типпи Хедрен и та не переправила ее в Голливуд. Так мы намыливались скорбью и ополаскивались надеждой, и хотя мы верили почти каждому слуху, достигавшему наших ушей, почти никому из нас не хватало смелости поверить, что наша нация мертва.

Глава 5

Судя по тем многочисленным признаниям, которые довелось прочесть мне самому, и по тем замечаниям, которые вы уже сделали, я подозреваю, уважаемый комендант, что вы едва ли привыкли читать исповеди вроде моей. Я не могу корить за необычность своего признания вас – только себя. Я виновен в честности, чуть ли не впервые за все свои взрослые годы. Зачем начинать теперь, в этих условиях – в одиночной камере размером три метра на пять? Возможно, причина в том, что я не знаю, почему я здесь. Когда я был кротом, или так называемым спящим агентом, мне по крайней мере было понятно, зачем я должен притворяться. Но сейчас другое дело. Если меня приговорят – или, как я подозреваю, уже приговорили, – мне остается разве что объяснить свои поступки в том стиле, какой я выберу сам, независимо от вашего мнения о них.

Полагаю, мне можно поставить в заслугу терпение, с коим я относился к настоящим опасностям и мелким хлопотам, сопровождавшим мою жизнь. Я жил как крепостной слуга, как беженец, чья работа связана с единственным преимуществом – возможностью получать велфэр. Я даже спать толком не мог, ибо спящие агенты, как правило, страдают хронической бессонницей. Может, Джеймс Бонд и умел безмятежно дремать на ложе из гвоздей, каковое представляет собой жизнь шпиона, но мне это не удавалось. Станным образом мне помогало заснуть лишь самое шпионское из всех моих занятий – расшифровка посланий Мана и шифровка своих собственных при помощи невидимых чернил. Поскольку каждое послание требовалось кропотливо кодировать слово за словом, как отправителю, так и получателю надлежало быть максимально лаконичным, и сообщение от Мана, которое я расшифровал на следующий вечер, гласило попросту: *хорошая работа, не привлекай к себе внимания, и еще: все диверсанты уже задержаны.*

Свой ответ я решил зашифровать после торжественного открытия генеральского магазина, где, по приглашению генерала, должен был появиться и Клод. Хотя мы несколько раз говорили по телефону, я не видел его с Сайгона. У генерала была и другая причина желать моего присутствия. Так сказал Бон спустя пару дней, вернувшись из магазина, куда его наняли помощником – неполная нагрузка в церкви позволила ему взяться и за эту работу. Я сам уговорил генерала нанять Бона и был рад тому, что теперь он будет проводить на ногах больше времени, чем на спине. Зачем он хочет меня видеть? – спросил я. Бон открыл артритическую дверцу холодильника и извлек оттуда самый чудесный декоративный предмет из всех, что имелись в нашем распоряжении, – блестящий серебристый цилиндрик пива “Шлиц”. В наших рядах есть осведомитель. Выпьешь?

Давай две.

Торжественное открытие назначили на конец апреля, чтобы объединить этот праздник с годовщиной падения Сайгона, или его освобождения, или того и другого вместе. Дата выпала на пятницу, и мне пришлось попросить миз Мори, секретаршу в практичных туфлях, отпустить меня из колледжа пораньше. В сентябре я бы на такое не осмелился, однако к апрелю наши отношения приняли неожиданный оборот. В первые месяцы после нашего знакомства мы потихоньку изучали друг друга на перекурах, во время пунктирных разговоров о том о сем, обычных для сослуживцев, а затем и по окончании работы, в барах далеко за пределами кампуса. Поначалу, опираясь на костюмные предпочтения миз Мори, ее любовь к большим джазовым оркестрам, ланчи в пакетах из оберточной бумаги и холодность в обращении со мной, я решил, что передо мной закоренелая бюрократка, которую исправит только могила, но я ошибался. Теперь мы были на дружеской ноге – если под этим можно понимать регулярные половые акты в поту и без предохраняющих средств у нее дома в Креншоу, эпизодические случки украдкой в кабинете заведующего кафедрой и

спорадические вечерние соития на скрипучем заднем сиденье моего “форда”.

Как она объяснила после нашей первой романтической интерлюдии, пригласить меня выпить, “когда будет настроение”, ее в конечном счете сподвигли моя мягкость, рассудительность и добродушие. Через несколько дней мы отправились в гавайский бар с основной клиентурой из крупных мужчин в цветастых рубашках на выпуск и женщин в джинсовых юбочках, куда еле влезали их объемистые ягодицы. По бокам от входа пылали бамбуковые факелы, а внутри смотрели с дощатых стен зловещие маски неопределенного тихоокеанского происхождения, чьи губы словно говорили: уга-буга! Освещали зал настольные лампы в виде темнокожих и гологрудых гавайских танцовщиц в юбках “хула”. На официантке была такая же юбка, светло-соломенная – под цвет волос, и бикини-топ из отполированных половинок кокосовых орехов. Примерно после третьей порции миз Мори облокотилась на стойку, подперев рукой подбородок, и позволила зажечь себе сигарету, что представляется мне едва ли не самой эротичной предварительной лаской, доступной мужчине при общении с женщиной. Она пила и курила, как восходящая кинозвезда в эксцентрической комедии, одна из тех дамочек в мягких бюстгальтерах и платьях с подплечниками, что говорят на особом жаргоне из двусмысленностей и недомолвок. Глядя мне прямо в глаза, она сказала: я должна кое в чем признаться. Я улыбнулся, надеясь, что мои ямочки произведут впечатление. Обожаю признания, сказал я. В вас есть что-то загадочное, сказала она. Поймите меня правильно – дело не в том, что вы стройный, смуглый и привлекательный. Вы просто смуглый, ну и... не без своего обаяния. Сначала, услышав о вас и встретившись с вами в первый раз, я подумала: отлично, приехал Дядя Том-сан, полный засранец, чистая туфта. Несчастный заморыш с плантаций, только что не сахарных, а рисовых. Как вы их охмуряете, этих гайдзинов! Белые люди вас любят, правда? Я-то им разве что нравлюсь. Для них я

изящная китайская куколка, гейша с перебинтованными ножками. Но я слишком мало говорю, чтобы меня любить, а если и говорю, то не так. Я не могу воткнуть в прическу палочки для еды, как последняя идиотка, и чирикать сукияки да сайонара, от чего они прямо балдеют, корчить из себя этакую Сюзи Вонг, будто все белые мужики сплошь Уильямы Холдены и Марлоны Брандо, даже если они выглядят как Микки Руни. Но вы! Вы умеете говорить, а это важно. Мало того – вы еще и замечательно слушаете. Вы овладели той самой пресловутой непроницаемой восточной улыбкой, киваете и сочувственно морщите лоб, и люди продолжают все вам выкладывать, думая, что вы абсолютно с ними согласны, хотя вы еще не проронили ни слова. Что вы на это скажете?

Миз Мори, сказал я, вы меня просто сразили. Я думаю, сказала она. И зови меня София, черт побери. Я тебе не перезрелая мамаша твоей школьной подружки. Закажи мне еще выпить и дай еще прикурить. Мне сорок шесть, и я не собираюсь это скрывать, но скажу тебе одно: если женщине сорок шесть и она всю жизнь жила, как сама хотела, она умеет все, что есть смысл делать в постели. И тут ни при чем “Камасутра”, “Подстилка из плоти” и вся эта восточная белиберда из репертуара нашего несравненного зава. Вы же проработали у него шесть лет, сказал я. А то я не помню, сказала она. Это только мое воображение или и правда всякий раз, как он открывает дверь в свой кабинет, где-то звенит гонг? И еще – курит он у себя в кабинете или только жжет благовония? По-моему, я слегка разочаровываю его тем, что не кланяюсь ему при каждой встрече. На собеседовании он спросил меня, говорю ли я по-японски. Я объяснила, что родилась в Калифорнии, в Гардине. Ах, так вы нисэй, сказал он, как будто знание одного этого слова помогло ему что-то узнать обо мне. Вы забыли свою культуру, миз Мори, хотя вы всего лишь второго поколения. Вот ваши родители – они иссэй, они-то ее хранили. Вы не хотите выучить японский? А съездить в Японию? Долгое время после этого разговора мне было не по себе. Я гадала, почему это я не хочу учить японский, почему я уже на нем

не говорю, почему я скорее предпочла бы поехать в Париж, Стамбул или Барселону, чем в Токио. Но потом я подумала: да кому это надо? Спрашивал кто-нибудь Джона Кеннеди, говорит ли он по-гэльски, наезжает ли в Дублин, лопает ли по вечерам картошку и собирает ли наклейки с лепреконами? Так почему *нам* не положено забывать *нашу* культуру? Разве моя культура не здесь, если я здесь родилась? Конечно, ему я всех этих вопросов не задавала. Просто улыбнулась и сказала: да, сэр, как вы правы! Она вздохнула. Что делать – это работа. Но я скажу тебе еще кое-что. После того как я твердо решила для себя, что ни черта я не забыла, что я отлично знаю свою культуру, а именно американскую, и свой язык, а именно английский, я все время чувствую себя в кабинете этого человека шпионкой. На поверхности я такая простая славная миз Мори, бедняжка, позабывшая о своих корнях, но внутри я София, и ты меня лучше не трожь.

Я откашлялся. Миз Мори...

Хм-м?

Кажется, я в вас почти влюбился.

София, сказала она. И давай проясним одну вещь, плейбой. Если мы с тобой что-нибудь и закрутим, а это еще очень большое если, то никто никому ничего не должен. Ты не влюбляешься в меня, а я не влюбляюсь в тебя. Она выпустила два дымовых колечка. Просто чтобы ты знал: я не верю в брак, но верю в свободную любовь.

Ну надо же, сказал я, какое совпадение. Я тоже.

* * *

По мнению Бенджамина Франклина, как сообщил мне десять лет назад профессор Хаммер, завести любовницу старше себя – большая удача; во всяком случае, так отец-основатель наставлял одного юношу. Я не помню всего письма нашего американского мудреца целиком, только два пункта. Первый: эти женщины “так

благодарны!!” Что, возможно, справедливо в отношении многих, но не миз Мори. Коли уж на то пошло, она ожидала благодарности от меня – и вполне справедливо. Раньше мне приходилось довольствоваться утешениями лучшего друга мужчины, т. е. онанизма, ибо проститутки были мне явно не по карману. Теперь же я имел свободную любовь, чье существование бросало вызов не только капитализму, стиснутому своими протестантскими традициями, точно поясом целомудрия, но и коммунизму с конфуцианской окраской. Это один из недостатков коммунизма (надеюсь, временный) – убеждение, что каждый товарищ должен вести себя точно благородный крестьянин, возделывающий своей мотыгой исключительно собственную делянку. В условиях азиатского коммунизма свободно все, кроме любви, поскольку на Востоке сексуальная революция пока не разразилась. Аргументация такова: если ты имеешь достаточно секса, чтобы произвести на свет шесть-восемь, а то и дюжину отпрысков (как, согласно Ричарду Хедду, оно и бывает почти во всех азиатских семьях), тебе едва ли требуется революция, чтобы получить его еще больше. Американцев же, привитых от одной революции и благодаря этому устойчивых к другой, интересует лишь тропическое шипение свободной любви, а не ее политический запал. Однако под чутким руководством миз Мори я начал понимать, что истинная революция подразумевает также и сексуальное освобождение.

Мои прозрения были не так уж далеки от прозрений мистера Франклина. Этот лукавый старый сибарит прекрасно понимал важность эротки для политики – не зря в своем стремлении обеспечить американской революции французскую помощь он обхаживал дам не менее старательно, чем государственных деятелей. Так что суть письма Первого Американца его юному другу была правильна: всем нам следует завести себе любовниц, превосходящих нас по возрасту. Это не столь уж сексистское заявление, как может показаться: ведь оно подразумевает и то, что женщины в возрасте должны спать с более молодыми жеребцами.

Пускай посланию старого греховодника и не хватало тонкости, зато в нем была грубая прямота, касающаяся нашей животной природы. Отсюда пункт второй, а именно: годы берут свое, начиная с верхних этажей тела и постепенно спускаясь вниз. Первым делом стареют черты лица, затем шея, грудь, живот и далее, так что пожилая любовница остается упругой и аппетитной там, где это имеет значение, даже если ее физиономия уже давно высохла и сморщилась, в каком-то случае ей можно просто надеть на голову ведро.

Но в случае с миз Мори такой нужды не было, поскольку она обладала приятной внешностью женщины без возраста. Для полного счастья мне требовалось только найти партнершу для Бона, который, насколько я знал, тоже практиковал сольные партии. Застенчивый от рождения, он проглотил свою пилюлю католицизма всерьез. По отношению к сексу он проявлял больше смущения и нерешительности, чем по отношению к тому, что казалось мне не в пример труднее – например, к убийству других людей. Кстати, это весьма характерно и для истории католицизма вообще, на всем протяжении которой секс так хорошо прятали под ватиканскими сутанами, что его будто вовсе не существовало. Чтобы папы, кардиналы, епископы, рядовые священники и монахи путались с женщинами, девицами, мальчиками и друг с другом? Никто об этом даже не заикался! И ведь в сексе самом по себе ничего плохого нет – противен не он, а лицемерие. А то, что церковь во имя Господа нашего Иисуса Христа замучила, сгноила, уничтожила в крестовых походах и заразила смертельными болезнями миллионы людей повсюду от Аравии до обеих Америк? Признается с дежурным ханжеским сожалением, и то далеко не всегда.

Со мной же все было наоборот. Едва переступив порог своего пылкого отрочества, я принялся ублажать себя и с тех пор занимался этим с усердием хорошего спортсмена, причем использовал ту же руку, какой крестился, вознося фальшивые молитвы. Со временем это семя полового бунтарства дало политические всходы, несмотря

на все отцовские проповеди о том, что онанизм неизбежно приводит к слепоте, оволосению ладоней и импотенции (революцию он к этому списку добавить забыл). Если мне суждено угодить в ад – что ж, ничего не поделаешь! Привыкнув грешить наедине с собой, иногда чуть ли не ежечасно, я неизбежно должен был рано или поздно начать грешить с другими. Так сложилось, что свой первый противоестественный акт я совершил в тринадцать лет с выпотрошенным кальмаром, умыкнутым с материнской кухни, где он ожидал своей нормальной участи в компании сородичей. Ах, бедный, невинный, бессловесный кальмар! Ты был размером с кисть моей руки и, лишившись головы, щупалец и кишок, приобрел удобную форму презерватива – впрочем, тогда я еще не знал, что это такое. Твоя внутренняя поверхность была скользкой и гладкой, как у вагины – впрочем, этого чудесного объекта я не видел еще никогда, если не считать того, что демонстрировали младенцы и дети дошкольного возраста, разгуливающие по дворам и переулкам моего родного города в одних рубашонках или совсем голышом. Этим они скандализировали наших французских господ, ибо те считали детский нудизм признаком варварства, каковое затем оправдывало их самих, грабящих и насилующих нас во имя святой цели – заставить наших детей носить одежду, дабы они не выглядели такими соблазнительными в глазах честных христиан, чьи дух и плоть равно подвергались опасности. Но я отвлекся! Вернемся к тебе, мой обреченный на надругательство кальмар: когда я просто из любопытства сунул в твое тесное склизкое отверстие сначала указательный, а затем средний палец, моя беспокойная фантазия просто не могла воздержаться от аналогии с тем табуированным женским органом, мысли о котором неотвязно преследовали меня в последние несколько месяцев. Без всякого понуждения, абсолютно независимо от моей воли, мое безумное мужское естество воспряло, и меня неодолимо повлекло к тебе, о мой дивный, чарующий, обворожительный кальмар! Хотя моя мать должна была вот-вот вернуться домой, хотя соседка могла в любой момент пройти мимо

пристройки, где находилась наша кухня, и застукать меня с моей головоногой невестой, я спустил штаны. Загипнотизированный неотразимым кальмаром и своим восставшим органом, я объединил их в одно целое, и первый, к несчастью, оказался как раз впору последнему. К несчастью, потому что с того дня любой кальмар, оставшийся со мной наедине, вызывал у меня непреодолимую тягу к зоофилии, пусть и в смягченном варианте – в конце концов, о мой горемычный соблазнитель, ты ведь был мертв, хотя теперь я вижу, что это поднимает другие моральные вопросы. Впрочем, нельзя сказать, что я предавался этим извращениям так уж часто, ибо кальмары в нашем далеком от побережья городке были редким лакомством. Отец время от времени дарил их матери, поскольку сам питался хорошо. Священников всегда балуют набожные домохозяйки и состоятельные прихожане, благоговейные перед ними так, будто именно они охраняют вход в эксклюзивный ночной клуб под названием рай. Эти поклонники и поклонницы убирали ему жилье, готовили еду, угощали его обедами и подкупали самыми разнообразными приношениями, в том числе морепродуктами, не предназначенными для голодранцев вроде моей матери. В миг своего судорожного семяизвержения я не почувствовал ровно никакого стыда, но по возвращении способности мыслить здраво ощутил тяжелейшее бремя вины – вовсе не из-за того, что пошатнул какие-то моральные устои, а потому, что не мог позволить себе осквернить уста матери даже крохотной толикой этого кальмара. Их было у нас всего полдюжины, и она непременно заметила бы, что одного не хватает. Как же быть? Что делать? Я застыл, сжав в горсти ошеломленного внезапной дефлорацией моллюска, из чьего оскверненного лона сочились последствия моего кощунства, и вскоре в моем хитроумном мозгу зародился коварный план. Во-первых, тщательно устранить все улики путем промывания. Во-вторых, пометить жертву насилия ножевыми порезами, дабы облегчить опознание. Затем ждать ужина. Моя простодушная мать вернулась в нашу жалкую хибарку, нафаршировала кальмаров

молотой свининой и бобовой лапшой с грибами, приправила имбирем, изжарила и подала на стол с имбирно-лаймовым соусом, куда их полагалось макать. Я увидел на блюде свою скорбную покинутую одалиску с отметинами, нанесенными моей рукой и, едва услышав предложение браться за дело, схватил ее палочками, чтобы лишиться мать всякой возможности опередить меня. Чуть помедлил под ее ласковым выжидающим взором, затем обмакнул кальмара в имбирно-лаймовый соус и откусил первый кусочек. Ну? – спросила она. З-з-замечательно, пробормотал я. Отлично, только ты не глотай сразу, а жуй хорошенько, сынок. Не торопись. Будет гораздо вкуснее. Да, мама, сказал я. И так, мужественно улыбаясь, послушный сын медленно и не без удовольствия сжевал всего поруганного кальмара, чей солоноватый вкус мешался со сладостью материнской любви.

Кто-то, безусловно, сочтет эту историю непристойной. Кто-то, но не я! Массовая резня – да, непристойна. пытки – непристойны. Три миллиона убитых – непристойны. Но мастурбация посредством кальмара, пусть и с элементами сексуального принуждения? Ну нет. Лично я глубоко убежден, что наш мир стал бы гораздо лучше, если бы слово “убийство” нам было так же трудно выговорить, как слово “мастурбация”. И несмотря на то, что по характеру я больше склонен к любви, нежели к битвам, мой политический выбор и тайная полиция в конце концов вынудили меня культивировать ту грань моей натуры, которую в детстве я пустил в ход лишь однажды, – агрессивность. Впрочем, даже работая в тайной полиции, я не только не прибегал к насилию сам, но и старался не допустить, чтобы к нему прибегали мои товарищи. Я позволял насилию свершиться лишь тогда, когда обстоятельства складывались уж очень неблагоприятно, загоняя меня в такие ситуации, откуда нельзя было выпутаться при помощи хитроумия. К сожалению, это хоть и изредка, но случалось, и воспоминания о некоторых допрошенных до сих пор преследовали меня с фанатической неотступностью: жилистый монтаньяр с жилой провода на шее и взбухшими жилами

на лбу, упрямый террорист с багровым лицом в белой комнате, сумевший выдержать все, кроме одного, коммунистическая шпионка с предательской бумажной кашей во рту, наши кислые имена буквально на кончике ее языка. У всех этих пленных был общий и единственный пункт назначения, но вело туда множество тернистых путей. Когда я прибыл в генеральский магазин на торжественное открытие, меня охватило чувство, хорошо знакомое этим бедолагам, – жуткая уверенность того сорта, что прячется, похихикивая, под карточными столиками в домах престарелых. Кто-то скоро умрет. Возможно, я.

Винный магазин находился в восточном конце Голливудского бульвара, вдали от пышного гламура Египетского и Китайского театров, где шли премьерные кинопоказы. В этом совсем не фешенебельном районе, хоть и солнечном, порой творились темные дела, и кроме обязанностей продавца Бон должен был выполнять еще одну: отпугивать потенциальных воришек и грабителей. Он бесстрастно кивнул мне из-за кассы; за его спиной тянулись полки с парадными квартами известных брендов, пинтовыми фляжками, которые удобнее всего красть, и, в самом уголке, мужскими журналами с подретушированными лолитами на обложках. Иди в подсобку, сказал Бон, Клод с генералом уже там. В подсобке зудели люминесцентные лампы и пахло дезинфекцией и старым картоном. Клод встал мне навстречу с пластикового стула, и мы обнялись. Он прибавил несколько фунтов, но в остальном не изменился – на нем даже по-прежнему была знакомая мне по Сайгону мятая спортивная куртка.

Садитесь, сказал генерал из-за своего стола. При каждом нашем движении пластиковые стулья бесстыдно скрипели. Со всех сторон нас подпирали коробки и ящики. На генеральском столе теснились увесистый телефон с дисконабирателем, штемпельная подушечка, истекающая красными чернилами, стопка квитанций, проложенных синей копиркой, и настольная лампа со сломанной шеей, не способная держать голову прямо. Когда генерал выдвинул ящик, мое

сердце трепыхнулось. Вот оно! Миг, когда крыса получит молотком по темечку, нож в шею, пулю в висок или все это разом, просто ради забавы. По крайней мере, все произойдет сравнительно быстро. В далеком Средневековье, как рассказывал Клод, обучая нас в Сайгоне тактике допросов, меня выпотрошили бы и четвертовали, а голову насадили на кол, чтобы все могли ею любоваться. Один палач-юморист освежевал свою жертву заживо, набил кожу соломой, посадил на коня и с помпой провез по городу. Умора! Я перестал дышать, ожидая, что генерал сейчас вытащит пистолет и удалит мне мозги нехирургическим образом, но он вытащил всего лишь бутылку скотча и пачку сигарет.

Н-да, сказал Клод, я предпочел бы воссоединиться с вами в более подходящих условиях, джентльмены. Я слышал, что вы спаслись из Доджа с большим трудом. Это еще мягко сказано, заметил генерал. А вы? – спросил я. Наверняка выбрались оттуда с последним вертолетом.

Не будем драматизировать, сказал Клод, принимая от генерала сигарету и стаканчик виски. Я улетел несколькими часами раньше на посольском. Он вздохнул. Никогда не забуду этого дня. Мы слишком долго ждали, и в конце все пошло кувырком. Вы были последние, кого вывезли на самолете. Потом появились морпехи на вертолетах, чтобы забрать остальных из посольства и аэропорта. И “Эйр Америка” отправила свои спасательные вертушки на наши секретные посадочные площадки. Но вот беда: рисовать номера этих площадок на крышах мы наняли местных вьетнамок, так что все в городе о них знали. Умно, правда? Когда настал момент истины, все эти дома оказались окружены. И те, кто должен был сесть в вертолеты, не смогли этого сделать. Та же история в аэропорту: внутрь не попасть. Пристани – перекрыты наглухо. Автобусы, и те не могли пробиться к посольству, потому что его осадили тысячи. И у всех в руках бумажки – трудовые договоры, брачные свидетельства, письма, даже американские паспорта. И все орут. Я знаю такого-то, такой-то может за меня поручиться, я замужем за американским

гражданином. Да кому какая разница! Морпехи стояли на стене и спихивали всех, кто пытался туда залезть. Надо было подобраться к какому-нибудь поближе и сунуть ему тысячу долларов – тогда он втаскивал тебя наверх. Время от времени мы подходили к ограде или воротам, высматривали тех, кто на нас работал, и указывали на них. Если им удавалось пробиться поближе, охранники выдергивали их из гущи народа или немножко приоткрывали калитку, чтобы туда пролез только нужный человек. Но иногда мы замечали своих знакомых в глубине толпы или на дальнем краю, и махали им, подзывая к себе, но они не могли протолкаться. Вьетнамцы из передних рядов не пропускали вьетнамцев сзади. Так что мы смотрели на них и махали, и они смотрели на нас и махали, но потом через какое-то время мы просто отворачивались и уходили. Слава богу, что их криков не было слышно во всем этом гаме. Я возвращался в дом, чтобы выпить, но легче не становилось. А послушали бы вы радио! Помогите, я переводчик, по этому адресу семьдесят переводчиков, заберите нас отсюда. Помогите, здесь на территории пятьсот человек, заберите нас отсюда. Помогите, тут в отделе снабжения двести, заберите нас отсюда. Помогите, в гостинице ЦРУ сотня, заберите нас отсюда. Угадайте, сколько из них мы забрали? Никого. Мы сами велели им прийти в эти места и ждать. У нас были там свои уполномоченные, и мы позвонили им и сказали, никого сюда не приводить. Выбирайтесь оттуда сами и приходите в посольство. А эту публику бросьте. И ведь за городом тоже были люди. Нам звонили агенты едва ли не со всей страны. Помогите, я в Кантхо, вьетконговцы уже на подходе. Помогите, я в лесу Юминь, что мне делать, как же моя семья. Помогите мне, вызволите меня отсюда. У них не было ни единого шанса. Даже у некоторых из посольства и то не было шанса. Мы эвакуировали тысячи, но когда снялся последний вертолет, во дворе еще ждали четыреста человек – мы их всех аккуратно построили и велели ждать вертолетов, которые вот-вот прилетят. Никто из них так и не выбрался.

Господи боже, мне надо еще выпить, даже говорить об этом нет сил. Спасибо, генерал. Он потерял глаза. Одно могу сказать – это было личное. Когда я оставил вас в аэропорту, то вернулся на свою виллу, чтобы хоть чуточку поспать. Я загодя сказал Май: встретимся на рассвете. Она должна была забрать семью. Шесть часов – ее нет, потом четверть седьмого, половина седьмого, семь. Шеф звонит мне и спрашивает, где я, черт возьми. Я отключаюсь. Четверть восьмого, половина, восемь. Опять звонит шеф и говорит, срочно давай в посольство, все уже на борту. Да пошел он, вонючка венгерская. Хватаю оружие и еду в город искать Май. Про дневной комендантский час все уже забыли, носятся по улицам, ищут способ удрать. В пригородах, правда, спокойней. Нормальная жизнь. Увидел соседей Май с флагом комми. На прошлой неделе те же самые люди размахивали вашим флагом. Я спросил их, где она. Они говорят: откуда нам знать, где эта американская шлюха. Я хотел пристрелить их на месте, но все на улице обернулись и смотрят на меня. Не мог же я ждать, пока местный Вьетконг меня прижучит. Поехал обратно на виллу. Уже десять. Ее нет. Я не мог больше ждать. Сел в машину и заплакал. Я не плакал из-за девушки тридцать лет, и вот пожалуйста. Потом поехал в посольство и вижу – внутрь не попасть. Как я уже говорил, народу тысячи. Я оставил ключи в зажигании по вашему примеру, генерал, и надеюсь, какой-нибудь засранец-коммунист сейчас катается на моем “шевроле”. Потом стал продираться сквозь толпу. Вьетнамцы, которые не пускали вперед своих же вьетнамцев, мне уступали. Конечно, я кричал, толкался и пихался, и многие из них толкались и пихались в ответ, но я все-таки продвигался вперед, хотя, чем ближе я подходил, тем труднее мне становилось. Я уже перекинулся взглядом с морпехами на стене и знал: стоит мне подобраться туда, и меня спасут. Я вспотел как свинья, рубашку мне порвали, и вся эта масса давила на меня. Люди передо мной не видели, что я американец, и никто бы не повернулся просто потому, что я похлопал его по плечу, так что я дергал их за волосы, или тянул за ухо, или хватал за шиворот и отталкивал в сторону. Я еще никогда

ничего подобного не делал. Сначала мне хватало гордости не визжать, но очень скоро я тоже начал срываться на визг. Пустите меня, я американец, мать вашу. Наконец я добрался до стены, и когда морпехи нагнулись, схватили меня за руку и вытащили наверх, я чуть было не заревел снова. Клод допил свое виски и грохнул стаканом по столу. Мне в жизни не было так стыдно, но я в жизни так не радовался тому, что я американец, черт побери.

Мы посидели в молчании, и генерал разлил нам еще по двойной порции.

За вас, Клод, сказал я, поднимая стакан. Поздравляю.

С чем? – спросил он, поднимая свой.

Теперь вы знаете, каково это – быть одним из нас.

Он обронил короткий горький смешок.

Я подумал в точности то же самое.

* * *

Сигналом к последней фазе эвакуации выбрали песенку “Белое рождество”, которую должна была транслировать радиостанция ВС США, но даже тут план провалился. Во-первых, поскольку это была совершенно секретная информация, предназначенная только для американцев и их союзников, весь город тоже знал, какой песни ждать. И что, по-вашему, происходит? – сказал Клод. Диджей не может найти эту песню. Бинга Кросби. Обшарил всю свою кабинку в поисках этой записи, а ее нет как нет. И что? – спросил генерал. Он находит версию в исполнении Теннесси Эрни Форда и включает ее. Это еще кто? – спросил я. Мне почему знать? По крайней мере, слова и музыка те же. Так что, говорю я, обстановка в норме. Клод кивнул. Полный бардак. Будем надеяться, что этот конфуз канет в забвение.

С этой молитвой ложились спать многие генералы и политики, но некоторые конфузы были простительнее других. Взять хотя бы название операции “Порывистый ветер” – конфуз, ставший

предвестием конфуза. Я целый год размышлял над ним, гадая, могу ли подать на правительство Соединенных Штатов в суд за преступную небрежность или, на худой конец, за губительное отсутствие литературного воображения. Какой военный гений выдавил этот “порывистый ветер” из своих плотно сжатых ягодич? Неужто никому не пришло в голову, что “порывистый ветер” может вызвать ассоциацию с “божественным ветром”, вдохновлявшим камикадзе, а более вероятно – особенно если речь идет о лишенной исторической памяти молодежи, – с феноменом метеоризма, в просторечии именуемого испусканием ветров? Или я просто недооцениваю этого военного гения и на самом деле он был мастером по части скрытой иронии – возможно, он-то и предложил “Белое рождество” в качестве условного сигнала, чтобы в очередной раз поиздеваться над вьетнамцами, которые и этот праздник не отмечали, и снега никогда не видели. Мог ли этот неведомый насмешник предугадать, что вонь, взбаламученная лопастями всех американских вертолетов, окажется эквивалентной могучему пердежу в лицо всем брошенным вьетнамцам? Выбирая между тупостью и иронией, я остановился на последней – она подразумевала у американцев хоть какие-то крохи достоинства. Только это и можно было извлечь из трагедии, которая нас постигла или которую мы сами на себя навлекли, в зависимости от точки зрения. Беда в том, что трагедия, в отличие от комедии, не заканчивается чистеньким аккуратным финалом. Она до сих пор держала в плену всех нас, и особенно генерала, этого новоиспеченного бизнесмена.

Я рад, что вы здесь, Клод. Вы не могли выбрать более удачный момент.

Клод пожал плечами. Я всегда появлялся вовремя, генерал.

У нас проблема, как вы и предупреждали меня перед нашим отбытием.

Какая проблема? В ту пору, мне помнится, у вас была не одна.

Среди нас есть осведомитель. Шпион.

Оба посмотрели на меня, словно ища подтверждения. Я сохранял бесстрастную мину, хотя желудок мой начал вращаться против часовой стрелки. Когда генерал произнес имя, это оказалось имя упитанного майора. Мой желудок сменил направление вращения. Я не знаю этого малого, сказал Клод.

Его и не за что знать. Как офицер он ничем не отличился. Это наш юный друг внес его в список эвакуируемых.

Если помните, сэр, то как раз майора...

Неважно. Важно, что я устал и зря поручил вам эту работу. Я вас не виню. Ошибка была моя. Но теперь настало время ее исправить.

Почему вы решили, что это он?

Первое: он китаец. Второе: мои агенты в Сайгоне сообщают, что его семья живет хорошо, и даже очень. Третье: он жирный. А жирных я не люблю.

То, что он китаец, еще не означает, что он шпион, генерал.

Я не расист, Клод. Ко всем своим подчиненным я отношусь одинаково, независимо от их происхождения, – вот как к нашему юному другу. Но этот майор... то, что его семья в Сайгоне живет хорошо, весьма подозрительно. Почему они живут хорошо? Кто им помогает? Коммунисты знают всех наших офицеров и их родных. Больше ни одна офицерская семья там хорошо не живет. Так почему его?

Косвенная улика, генерал.

Раньше это вас никогда не останавливало, Клод.

Здесь все иначе. Здесь надо играть по новым правилам.

Но я ведь могу слегка отойти от правил, верно?

Вы можете даже прямо нарушить их, если знаете как.

Я подытожил полученную информацию. Во-первых, чисто случайно и к своей собственной досаде, я одержал блестящий успех, взвалив вину на невиновного. Во-вторых, у генерала есть в Сайгоне свои люди, а это говорит о наличии какого-то сопротивления. В-третьих, генерал поддерживает контакт со своими агентами, хотя прямые каналы связи вроде бы отсутствуют. В-четвертых, генерал

наконец вновь стал самим собой – вечным комбинатором, всегда имеющим как минимум по одному замыслу в каждом кармане и дополнительный в носке. Поведя вокруг руками, он сказал: по-вашему, я похож на мелкого предпринимателя, джентльмены? По-вашему, мне нравится продавать выпивку пьянчугам, неграм, мексиканцам, бомжам и наркоманам? Послушайте-ка, что я вам скажу. Я всего лишь коротаю время. Наша война не кончена. Эти сволочи-коммунисты... ладно, не буду лицемерить, нам от них прилично досталось. Но я знаю свой народ. Я знаю своих солдат, своих подчиненных. Они не сдались. Они полны готовности биться и умереть, дайте только шанс. Это все что нам нужно, Клод. Один шанс.

Браво, генерал, сказал Клод. Я знал, что вы не позволите себе долго сидеть сложа руки.

Я с вами, сэр, сказал я. До конца.

Хорошо. Потому что майора выбрали вы. Согласны, что вам следует исправить свою ошибку? Я полагаю, что так. Но вам не придется делать это одному. Я уже обсудил проблему майора с Боном. Вы устраните эту проблему вместе. Решение найдете сами – тут я полагаюсь на ваш профессионализм и ваше безграничное воображение. Прежде вы никогда меня не разочаровывали, если не считать этой промашки с майором. Теперь можете реабилитироваться. Все ясно? Хорошо. Тогда вы свободны. А мы с Клодом еще обсудим кое-какие дела.

* * *

Зал магазина был пуст, если не считать Бона, загипнотизированного светящимся экранчиком крошечного черно-белого телевизора рядом с кассой: передавали бейсбольный матч. Я обналичил взятый с собой чек, возврат от Федеральной налоговой службы. Сумма была небольшая, но символически значимая, ибо

крохоборское правительство моей родины никогда не возвращало своим обмишуленным гражданам и малой толики того, что ему однажды удалось у них отнять. Сама эта идея выглядела абсурдной. Наше общество представляло собой клептократию высшего порядка: правительство изо всех сил старалось обокрасть американцев, рядовые жители изо всех сил старались обокрасть правительство, а худшие из нас изо всех сил старались обокрасть друг дружку. Теперь, несмотря на сочувствие к изгнанным землякам, я не мог не радоваться тому, что наша страна рождается заново и вековые наслоения коррупции гибнут в революционном пожаре. Что там возврат налогов! Революция перераспределит все несправедливо добытые капиталы, следуя принципу “лучшее – бедным”. А на что бедные употребят эти дары социализма, решать им самим. Лично я приобрел на свою капиталистическую компенсацию столько бухла, чтобы мы с Бонном могли пребывать в тревожной амнезии вплоть до следующей недели, – поступок, возможно, не слишком предусмотрительный, но, тем не менее, явившийся результатом моего свободного выбора, то бишь священного права каждого американца.

Майор? – сказал я, пока Бонн укладывал бутылки в пакет. Ты правда думаешь, что он шпион?

Откуда мне знать? Я пешка, мое дело маленькое.

Ты делаешь, что прикажут.

Ты тоже, умник. А раз ты такой умный, ты все и спланируешь. Ты здесь лучше ориентируешься, чем я. Но черную работу оставь мне. Теперь иди-ка посмотри сюда. За стойкой, под кассой, лежал двуствольный обрез. Нравится?

Откуда ты его взял?

Здесь легче купить пушку, чем проголосовать или получить права. Даже английский знать не надо. Забавно, что как раз майор и помог мне его достать. Он говорит по-китайски. А в Чайнатауне полно китайских банд.

С этой штукой будет много грязи.

Мы не с этой штукой пойдём, светлая голова. Он открыл коробку для сигар, тоже лежащую на полке под стойкой. Внутри обнаружился тупорылый револьвер тридцать восьмого калибра – во Вьетнаме у меня был в точности такой же. Это для тебя достаточно тонкий инструмент?

Снова я оказался жертвой обстоятельств, и снова мне предстояло вскоре увидеть другую жертву обстоятельств. Единственным, что хоть как-то скрашивало мою грусть, было выражение лица Бона. Он выглядел счастливым – впервые за целый год.

Глава 6

Чуть позже состоялось торжественное открытие. Генерал жал гостям руки, непринужденно болтал с ними о том о сем, и улыбка не сходила с его лица. Подобно акуле, которая жива только пока плавает, политик – а именно это стало теперь генеральской профессией – должен безостановочно шевелить губами. Роль избирателей в данном случае выполняли его старые товарищи по оружию, сторонники, военные и друзья – взвод примерно из тридцати мужчин среднего и пожилого возраста, которых после лагеря беженцев на Гуаме мне редко доводилось встречать без мундиров. Появление этих людей в штатском теперь, год спустя, подтверждало их статус проигравших войну и убедительно демонстрировало их виновность в многочисленных мелких преступлениях по части выбора одежды. Они скрипели по залу в грошовых туфлях с распродаж и мятых бюджетных брюках или в аляповатых костюмах из тех, что оптовики имеют обыкновение впаривать, то бишь продавать парами по цене одного. Галстуки, носовые платки и носки при этом добавляют даром, хотя больше пользы принес бы одеколон, пусть даже самой пошлой разновидности – все равно, лишь бы не было так заметно, что злорадный скунс истории оставил на них свою въедливую отметину. Большинство гостей превосходили меня по рангу, но благодаря обноскам с плеча профессора Хаммера я был одет лучше их. Его синий пиджак с золотыми пуговицами и серые фланелевые слаксы сидели на мне идеально – для этого их пришлось подкроить совсем немного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

БЕСТСЕЛЕР THE NEW YORK TIMES

ВЬЕТ ТХАНЬ НГУЭН



СОЧУВСТВУЮЩИЙ

★

РОМАН



Лауреат Пулицеровской
премии 2015

„Многослойная иммигрантская история,
горькая исповедь человека «с двумя
лицами», затерявшегося между
двумя странами — Вьетнамом и США.“

КОМИТЕТ ПУЛИЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ

Примечания

1

Перевод К. Свасьяна.

[Вернуться](#)

2

Цивилизаторской миссии (*фр.*).

[Вернуться](#)

3

Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (то же самое, что Вьетконг).

[Вернуться](#)